

* Б И Б Л И О Т Е К А С Е М Е Й Н О Г О Р О М А Н А *

Валентин Николаев



Том II

Библиотека семейного романа

Валентин Николаев

**Собрание сочинений
в двух томах. Том II**

МОФ «Родное пепелище»

2010

УДК 82-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

Николаев В. А.

Собрание сочинений в двух томах. Том II / В. А. Николаев —
МОФ «Родное пепелище», 2010 — (Библиотека семейного романа)

ISBN 978-5-98948-035-7

Во второй том вошли произведения последних лет в творческой жизни писателя. Ввиду радикальных перемен в жизни страны, во взглядах писателя происходит радикальное переосмысление ценностей, всё сильнее и сильнее с каждым новым произведением звучит тревога за судьбу страны, народа, родной культуры. Многие из произведений этих лет отмечены критикой и литературными наградами разного уровня. Появление духовной прозы знаменует новый поворот в творческой судьбе писателя. А рассказы последних лет полны боли за судьбу маленького человека, брошенного на произвол судьбы, и тем не менее не утратившего своего человеческого достоинства, по-прежнему стремящегося к высшему проявлению добра и правды.

УДК 82-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

ISBN 978-5-98948-035-7

© Николаев В. А., 2010
© МОФ «Родное пепелище», 2010

Содержание

В России в непогоду	6
Записки с полуострова или радости и страдания на Макарьевском тракте	6
1	6
2	11
3	12
4	14
5	15
Раздумья провинциала во все времена года	17
Весенние сроки	17
Лето	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Владимир Николаев
Собрание сочинений в двух томах. Том II
Эссе. Духовная проза. Рассказы

© А. В. Николаева – наследница

© НООФ «Родное пепелище»

В России в непогоду

Записки с полуострова или радости и страдания на Макарьевском тракте

1

Весной, в апреле, меня, как перелетную птицу, тянет на север. Тянет к дому. Дом пуст, в нем никто не живет, он ждет меня всю долгую зиму и заметно стареет. Любой дом без хозяина стареет быстро, его будто съедает тоска.

Я помню, как мы его строили. Ходили с отцом по ровному полю за телегой и бросали в нее камни. Лошадка была спокойная и, наверное, впервые брела по пашне свободно, куда захочет. Не спешили и мы: у отца болело сердце, а я все повторял упругую библейскую притчу: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни». Мы собирали, и я радовался. Библейскую мудрость понимал я тогда почти буквально, потому что было мне 16 лет. И ездили мы по тому самому месту, где встанет потом дом деда, где и будет лежать эта Библия, знакомая мне с детства и единственная на всю деревню. Из старой деревни нас выжила большая вода Горьковской плотины на Волге. Было это 35 лет назад, в 1954-м.

Как переселенцы жили мы временно у сестры матери – тетки Дуни, ютившейся, сколько помню, в покосившейся боковуше (половине дома). Солдатская вдова с двумя дочерьми, она всю жизнь проработала на колхозной ферме почти бесплатно, потеряла там здоровье, но не растратила душевной доброты.

Камни с телеги мы ссыпали в шесть ям, которые стали тупиками нового дома, а значит – и новой родины.

Строился отец один, без нас, сыновей, нанимал плотников. Братья мои Николай и Борис служили тогда в армии, а я уезжал учиться. Собрались мы все вместе, когда приехали хоронить отца и докрывать дом. Надо было обживать пустую дворину – ребристую поверхность поля, зарастающую травой. Я помню, как ходил в лес драть дранку и крыл ею двор, как сажал возле дома первые березы, черемухи, калину...

Прошло двадцать лет, выросли березы возле дома, как и на могиле отца – ровесницы. Прижились и состарились яблони, которые отец перевез из старой деревни. Дворина дома заросла травой, шиповником, смородиной и малиной. И сейчас скажу, какой куст кто и когда сажал. Много раз вкапывал я в проулке маленькие дубы и липы, но страшные ветры с «моря» выдували, губили все. И не удивительно. Всю зиму грохотала железом крыша, в любой миг готовая сорваться и улететь. Хорошо, что отец догадался перекинуть через нее две цепи. Они и держали. С других домов крыши срывало. Снегу наметало вровень с тыном.

Многие годы мать зимовала одна вместе с кошкой, козой и курами. Коровы и овец давно уже не было: негде было косить да и некому. Николай работал в затоне, плавал по Унге на катере. Он и следил за домом, урывками навещал его то в выходные, то в отпуск.

И вот снова мы собрались у дома все вместе: мать пережила отца ровно на 20 лет.

И дом осиротел. Теперь в будни его проверяла только соседская кошка, оставляя на снегу одинокие следы.

Брат появляться стал еще реже.

Сдав катер затонской охране, шел он двадцать пять верст заснеженными полями наедине со своими думами. Я представляю, как входил он среди ночи в нетопленный темный дом, уста-

лый, голодный, и первым делом заводил часы. Потому что остановившиеся в простуженном доме часы наводят гнетущую тоску. Наверное, его неудержно клонило в сон, но он шел на колодец за водой, приносил дрова, затоплял печь... Потом сидел, глядел в раскрытый гудящий зев печи, курил и постепенно отходил душой и телом.

Что его сюда звало в течение шести лет после смерти матери? Воспитанный и выучившийся на стороне, давно порвавший с колхозом, он, видимо, до конца так и не мог порвать в себе крестьянскую нить: подправлял изгороди, красил крышу, законопачивал щели в пазах.

Летом, сдав сменщику катер, приходил косить траву в огороде, сушил сено, метал стог. Но кому? Скотины уже никакой не было, но он не мог допустить, чтобы трава перестояла или осталась вовсе некошенной. Стыдился соседей.

Много одиноких дней провел он тут, глядя из окна на плес, на суда, где была его настоящая работа. Будто смотритель маяка, следил по березам за ветром, слушал радио, погоду...

Потом уезжал на свое судно, на вахту. Только теперь понимаю я, сколько сил и долготерпения требовалось ему, чтобы хранить этот дом, поддерживать в нем жизнь. Он был болен и одинок, врачебную комиссию обманывал уже не первую навигацию. Но в ту зиму все-таки покинул дом. Надолго. Он боялся умереть в доме один среди холодной зимы. Он не ошибся и рассчитал все верно: смерть настигла его в городе.

А через две недели позвал к себе другого брата...

И остались в этом мире мы с домом вдвоем: я в городе, он – в деревне.

Дом стоит высоко над водой, один на угоре. Над ним вечным парусом бушует береза, а выше берез – звезды. Жизнь из дома выветривается постепенно. Первой – еще раньше хозяйина – уходит кошка. И тогда наступают, выживают хозяйина из дома мыши. Они пищат, нагло разгуливая по столу среди бела дня. Но когда уходит и хозяйин, отступают и они. И дом немеет. Он теряет жилой дух, как живую душу, в нем поселяется запах нетопленной печи, брошенных ведер, одежды, обуви... В подполье принимаются расти диковинные грибы, бревна обметывается, как паутиной, белой скользкой плесенью. Дом не борется, он сдается. И начинает на глазах стареть. Казалось бы: никто не ходит, не хлопает дверьми, не расшатывает половиц, не сотрясает стены и печь... А он сникает.

И даже природа не противится этому акту. Напротив, стоит хозяйину уйти за порог, как тут же вокруг дома начинают буйно с какой-то дурью вымахивать лебеда, крапива, татарник, иванчай. Они обступают дом плотным кольцом, прорастают сквозь щели крыльца, заглядывают в окна. И это срабатывает как сигнал для всех прохожих, ближних и дальних соседей: «Не зевай, тащи что можно, ломай, круши!..» И взламывают окна, двери, выворачивают «живьем» плиты, дверки из печей. Топор, молоток, веревка, забытая иконка в упечи – ничто не спасется от новоявленного варвара. Он забыл уже и не вспомнит о том, что в доме этом едал, пивал, может, с бедой приходил какой или болезнью... Все забыто, нет хозяйина, и никого не стыдно.

Умиряющее человеческое жильё всегда печально. Это губительно и для подрастающего поколения. Увы, не избежала этого наша российская деревня.

После смерти матери я долго не бывал в родительском доме, во всем полагаясь на брата. А в первую весну после ее похорон не находил себе места и все же решился. И время было как раз перед Пасхой, и я один был в доме. Но среди ночи, во сне, навалилась такая тоска, что я не знал, как пробудиться. А пробудившись, скоро собрал вещи, закрыл дом и босиком, неся ботинки в руке, как пьяный пошел в поле. В болоте умылся, попил из лужи, отдышался на кочке и только тут услышал птиц, утро, весь мир.

С тех пор я боялся заходить в дом.

Но после смерти Николая ехать туда, кроме меня, было уже некому.

Конечно, я знал, что меня там ждет. «Но если не решусь обживать дом весной, то потом будет еще труднее! В апреле все движется: вода, воздух, снег, трава, и даже земля – все меняется не только с каждым днем, но и с каждым часом. Одолею...» – подумал я и собрался.

Летом я мог бы добраться до дома за четыре часа теплоходом, но зимняя дорога – целое путешествие.

Всю ночь я маялся в жестком вагоне поезда, который вез меня куда-то на север, к Ярославлю.

В ранних утренних сумерках вышел в Нерехте. Очередь за билетами на автобус, давка.

Куда только не едет российский народ! Не бывает и минуты в стране, чтобы кто-то не находился в пути. Покинув один дом, человек не ведает, когда и как доберется до другого. Путешествие по нашему Нечерноземью до сих пор не менее рискованно и загадочно, чем у героев Жюль Верна. Но увы, совсем без романтики.

Пропустив один автобус, я все-таки вырвал себе билет на второй. И опять давка. Какой-то сухопутный лейтенант плебейского вида с редкими сивыми усишками и в кожаных черных перчатках берет автобус приступом. Оставив жену с плачущим дитем и чемоданом на земле, утвердился в дверях автобуса и командует сверху:

– Пропустите там!

Ребенок ревет, жена кричит, толпа ропщет, а офицерский чемодан плывет над головами в автобус.

Утискались, едва закрыли дверь.

– Уступите там! – опять командует лейтенант, не снимая перчаток, и все кого-то ругает. Ребенок не успокаивается.

– Жрать просит, дай ему! – командует жене, устраивающейся у окна. Пробрался к своим и плюхнулся на мое сиденье рядом с женой, вцепившись траурно оперчаточенными руками в спинку переднего сиденья.

У меня на плече тяжеленный рюкзак (считай весь дом тут), в руке, будто каменная, сумка, но я ничего ему не сказал. Даже не попросил убрать перчатки, чтобы хоть одной рукой я смог держаться на ходу автобуса. Мне жаль было его жену, ребенка и солдат, которым достался он в командиры...

Разные люди едут по России. И разные думы везут с собой по разбитым бесконечным дорогам.

В Костроме, едва сошел с автобуса в надежде где-то поесть, привязалась цыганка:

– Дай ребеночку пять копеек на молочко. Дал ей двадцать, она воспряла:

– Хочешь погадаю? Скажу всю правду, что тебя ожидает в жизни. Ждет тебя большая удача...

– Не надо, я все знаю сам.

– ...но счастья у тебя не будет. Ты сам его погубишь...

Опять очередь, и опять автобус. И снова со мной рядом молодая мать с вещами и ребенком, который спит у нее на коленях, а она спокойно читает книгу. На остановке доверила сонного ребенка мне и даже сбегала в магазин. Она не нервничает, и ребенок не пробудился всю дорогу. Разные матери, и разные дети.

В Макарьево, ожидая другой автобус, вспомнил цыганку: «Ждет тебя большая удача, но ты сам все погубишь...» Но может ли быть большее счастье, чем дом, родина? И кто жаждет погубить все это? Думай как хочешь?

На склоне дня меня помчал третий автобус, уже на юг, как бы в обратную сторону – я замыкал огромную петлю вокруг ледяной пустыни Горьковского моря и приближался к отчужденному дому. Приближение это я мог бы угадать и с завязанными глазами по той особой дороге и той диковинной манере шоферов, каких нет, наверное, уже в мире. Представьте себе, когда среди разнообразных бесконечных тычков снизу, слева и справа вдруг будто что взрывается под автобусом и все люди, рюкзаки, чемоданы летят вверх, стучаются о потолок, там зависают на какой-то миг как в невесомости и потом рушатся вниз, в общую кучу... Но шофер не сбавляет хода и даже не оборачивается, а газует дальше. Только в этом автобусе рюкзак я привязываю

ваю веревкой к сиденью, и всю дорогу не снимаю шапки, чтобы не разбить себе голову. Около пяти часов пыль в автобусе стоит сплошным облаком даже зимой. Хорошо себя чувствуют в этой «машине времени» лишь пьяные лесорубы и сплавщики. В ватных штанах и огромных валенках с калошами они не боятся ушибов, переломов, а от души смеются и острят, валясь кучей на испуганно крестящихся старух, уже как бы простившихся с этим миром. Самое удивительное, что лесорубы не поправляют свое тело после этих гигантских тычков, а лежат или сидят на полу в той позе, как их бросило, посмеиваясь, курят, а иногда даже и попивают прямо из горлышка. Они давно ко всему приучены, начиная со своей чудовищной работы. Наконец после двух сильнейших взлетов и падений наш экипаж встал как вкопанный среди поля, шофер открыл дверь и объявил, что дальше ехать неммыслимо, иначе он не вернется восвояси.

Мы вышли в вечернее поле и даже обрадовались вольному воздуху и покою. У меня была самая тяжелая ноша, а идти мне предстояло дальше всех. Сначала я держался бодро, но постепенно попутчики чуть-чуть ушли вперед, потом еще отделились, но я их еще долго видел всех в одном поле. Солнце склонялось к ельнику, увеличивалось и краснело, кричали чибисы, кувыркаясь над вытаявшими болотинами. В длинных резиновых сапогах я не выбирал дороги, а потому глядел окрест, радуясь новой весне.

– Дойдешь? – спросил меня последний попутчик, оглянувшись на прощанье.

– Дойду, – ответил я и снял рюкзак, чтобы расправить плечи и остаться одному. Теперь я был никому не в тягость и шел медленно, с наслаждением, следя за утихающим ярким днем. Когда стало темно, достал из рюкзака фонарь и один светил им в ночном поле. Однако все чаще снимал и бросал рюкзак на талый снег обочины. И все труднее вскидывал его потом на спину. Ноги еще шли, но плечи уже ныли, и меня все неожиданнее поводило на развезенной дороге. Нагнали две грузовые машины, по очереди высветив меня фарами почти за километр. Я голосовал перед той и другой, но они даже не сбавили хода. Нет, я не осадил своего сердца печалью и злобой от их поступка, а ступал все так же и пытался себе представить каждого из них за рулем, и что каждый из них подумал обо мне. Всего скорее то, что идти мне остаюсь совсем недалеко и что я только испачкаюсь в кузове машины.

Живет еще в деревенском человеке и такое понятие: хорошо одетому (в нерабочее) человеку не может быть плохо в деревне, поле или на дороге... Это засело в душах крестьян от времен всяких инспекторов, агентов, проверяющих, которые с добром в деревню никогда не шли, а только – обложить налогом, потребовать, предписать или просто напугать. Поэтому и помогать им не следует, а как попал, так пусть и выбирается. Наоборот, еще дорогу гиблую при случае можно показать.

Помня послевоенную деревню, я хорошо это знал, а потому и не осуждал и не спешил, несмотря на глухую ночь. Да и куда было спешить, в нетопленный дом?

Чтобы сохранить остаток сил, я свернул на луговую кулижку в поле и разжег под елью костерок из сухой травы и сучьев. Достал из рюкзака еду, пожарил на прутике, как шашлык, колбасу с хлебом и, привалившись спиной к шершавому стволу ели, даже уснул на какое-то время, прислушиваясь к тонкому голосу не спящего возле леса чибиса. Когда начала прохватывать дрожь, с охотой взвалил на спину рюкзак и, не гася костерка, двинул дальше. Шел и все оглядывался на живой огонек, и было нас в этой ночи уже двое.

Кто знает, сколько миновал я в ночи сонных деревень, глухих и темных, будто погруженных в вечность. Помню только, что на краю какой-то сиротской, всего из пяти или шести домов, где не слышно было даже собачьего лая, свалился я на ступеньки старого амбара и долго облегченно дышал, глядя в холодное небо. Ах как хорошо лежать на сухом дереве, раскинув руки и ноги! Я даже рад был, что утро не скоро и меня никто не потревожит. Лежал и думал, что иду древним Макарьевским трактом, некогда оживленным. До революции один из моих дальних родственников служил на этом прогоне Юрьеvec – Макарьев ямщиком. Веселый человек был, петь и плясать любил. А вообще дорога эта ходима и ездома была еще с XII–XIII веков. И не

только для простого люда. Цари на богомолье по ней ездили. А Михаил Федорович, родоначальник дома Романовых, более 20 верст шел вот по этой дороге пешком. В октябре 1620 года, вместе с матерью и со свитой шел царь в Макарьевский монастырь – исполнял данный Богу обет. И в каждой деревне, где останавливался на отдых, рубили крестьяне деревянные часовни. Не один век затем щедроты царского дома обильно нисходили на Макарьевский монастырь и унженское понизовье. Не знал здешний мужик крепостного гнета еще и потому, что рыба, мед, рыжики, грузди всегда поставлялись из богатых здешних вод и лесов к царскому столу.

Давно все это было. И не видел я никогда ни одной часовни здесь, да и не верилось даже, что стояли когда-то. «А как бы хорошо, – мечтал я на ступеньках амбара, – теплилась бы в каждой часовне свеча или лампада, как живая душа деревни, и не было бы так одиноко и сиротливо в ночи. Всякий путник тянулся бы на этот свет и кланялся мысленно или въявь трепетному огоньку как памяти давно почивших здесь предков.

Глядишь бы, и я сейчас шел и загадывал: отдыхал царь в следующей деревне или нет?..» Но давно, наверно, миновал я те деревни да и шел в обратную сторону.

Какие-то птицы поспешно просвистели крыльями над моим амбаром. Не было ни звезд, ни месяца, и ничего я не увидел в небе. Вспомнил, что идут вторые сутки моего непрерывного движения по весенней земле, и двигаюсь я теперь не на север, а на юг. «Надо, надо идти...» – говорил я себе поднимаясь. И по-прежнему не узнавал ни дороги, ни деревень.

Я знал, что где-то здесь стоит уже много лет большая привольная деревня, где все дома аккуратно заколочены (окна и двери), а люди уехали все разом в одно место на север, кажется в Мурманск. И не продали пока ни одного дома. Крепка же должна быть обида, побудившая их на это, и достойны уважения их единение и гордость. Поступок этот так подействовал на земляков, что до сих пор не тронут ни один дом, не оторвана ни одна доска. И ходит молва, что однажды люди вернуться, и тоже все вместе. Почему-то хочется в это верить и мне. И жаль, что не поступили так все деревни Нечерноземья: глядишь бы, застойное начальство небрежно-брежневской закваски пораньше очухалось от дури.

Неожиданно спустился я в какой-то овраг с ельником, и когда остановился на деревянном мостике через бурлящий поток, понял, что дошел до речки Устанки. Будто гора свалилась вместе с рюкзаком с моих плеч: я был в родных местах! Глаза мои защипало как в детстве после напрасной обиды и перед новой радостью жизни. В овраге с южной стороны еще белел снег, ели на этом снегу будто дремали, покоясь в легком туманце и слушая бесконечный говор вешнего потока. Я выключил свой фонарь и не мог наслушаться, надышаться сырым хвойным настоем оврага. Душа моя окончательно успокоилась, рюкзак из безжалостного нахребетника с давящей тяжестью превратился в первого друга, у которого есть все необходимое для меня на эту весну.

В два часа ночи я был в Нежитине, постучался в дом под старыми липами. Восемидесятилетняя тетка сразу узнала меня, заохала, запричитала. Раздеваясь, я ей рассказывал о своей дороге и жизни, спросил о доме.

– А стоит, стоит... – отвечала она. – Ждет. Осиротел дом-то совсем, ждет тебя... Она уже путала день и ночь, не могла наговориться, а я лежал на горячей печи и медленно погружался в сон.

Ложась, я велел разбудить себя рано утром, однако проснулся, когда день уже сиял вовсю.

– А уж спишь больно хорошо, – улыбаясь, оправдывалась тетка. – Погрейся на печке, свою-то не скоро еще оттепишь.

Хорошо было у нее в тихой уютной избе, и потянуло к дому еще сильнее.

Когда я взвалил снова на плечи рюкзак, то с трудом поверил, что нес его вчера без малого двадцать верст. Хоть и отдохнул, но всего меня как-то перекосило, и вновь я осел под ношей.

Дорога еще держалась ночным морозцем, и шел я поначалу довольно бодро. «Всего-то два поля осталось», – думал с радостью. Раздольно было в полях, играла, светила вода, вор-

ковали на опушке леса голуби, солнце пригревало все больше, и уже оттаивал ночной ледок. И свои, родные теперь были места. Одно плохо – некуда было поставить рюкзак, чтобы передохнуть, полюбоваться всем. Но маячил впереди омет соломы возле дороги. До него я и шел. Верх омета обтаял и слегка струился нагретым воздухом. Идти к омету надо целиком, полем. Разогнул сапоги, побрел – вдаль от дома. А что делать, вокруг поля, ни сесть, ни облокотиться, а до ближнего перелеска не дойду: все-таки перегрузил я свою ношу. Вот и омет – как дом, с южной стороны обтаял, просох. Залез я на него вместе с рюкзаком, раскинулся один на все поле и небо – благодать. Теперь уж все, как не мучай меня дорога и ноша – а я дома, одно поле осталось, и целый день отпущен мне на него. Вон он дом; с омета я вижу березу над крышей – значит, и дом тут, под березой: дойдешь до середины поля и начнет выглядывать, а пока не видно. Пахнет просыхающей соломой, мышами, все больше греет солнце.

Какое-то время я лежал с закрытыми глазами и мысленно представлял все свое путешествие за эти двое суток, запоздало прикидывал: стоило ли все это затевать, обрекать себя на добровольное испытание?.. Вдруг тоненько крикнула надо мной будто бы чайка. Я прислушался, а когда открыл глаза, увидел, как далеко в небе белым серпиком, будто припозднившийся месяц, она медленно парила над моим ометом. И душа моя прозрела: как сквозь пелену услышал я переливчатые трели жаворонков по всему полю, попискивал куличок в разливине возле самого леса, прошмыгнули над ометом поспешные галки...

Я услышал весенний мир, включился в него, и все дорожные невзгоды враз отодвинулись, измельчали, и не хотелось о них больше вспоминать. Мир словно распахнулся и вырос. Собираясь, я дал себе слово не трогать запасы из рюкзака, пока не ступлю на крыльцо родного дома. Но тут нарушил свое обещание: распаковался, налил в крышку термоса водки и, глядя на березу над своим домом, выпил за возвращение. И ах! Так хорошо мне стало. Я не заметил даже, как потихоньку запел.

К дому своему я рвался уже не дорогой, а напрямик, полем, выбирая земляные обтайки. И с каждым шагом дом как бы вырастал, поднимался на цыпочках, будто хотел разглядеть, кто там в нетерпении спешит к нему впервые за всю зиму.

2

И храни как заповедь в деревенском доме: «Вода и дрова – прежде всего». Пусть ты смертельно устал, иззяб или заболел в дороге, но едва переступил порог – вспомни эти два слова и исполни их. Полусонный, дрожащий от холода и болезни топи печь, а потом залезай на нее и забудь все печали. Пусть она отдает холодом, пахнет печиной – ничего, лежи и жди. И не заметишь, как тихий сон сморит тебя и приснится тебе теплое лето детства. В полночь или к утру печь прогреется и высосет из тебя болезнь и усталость. Чем больше будет прогреваться печь, тем глубже и счастливее будет твой сон. А проснешься в солнечный полдень с радостью на душе, проснешься, как вынырнешь из глубины, и воскреснет для тебя забытая жизнь. Сучок на потолке, изображающий путника в пургу, напомним детство; старые валенки, подшитые еще отцом, приведут в умиление... И пойдешь ты по своему дому, как по музею. И все будет радо тебе.

Я прожил детство в деревенском доме, но оказалось, многого не знал. Каждый день мать топила русскую печь, и я видел, как она это делала, а сам впервые затопил вот только сейчас. Открыл трубу, вьюшку, поджег дрова, лугу... Дыму полная печь, а скоро и упечь – нет никакой тяги. Полез на крышу (с крыши поздоровался с соседкой), добрался до трубы, из которой едва курилось, заглянул внутрь – чисто. Ничего не понимая, опять бегу в избу, а там уж и окон не видать: все тонет в дыму. Распахнул дверь и в панике на чердак. Когда разобрал боров, все стало ясно. В последнем колене дымохода грубо топорищилось прутьями огромное галочье гнездо, и яички уж лежали. Я выволок весь этот хлам, и спертый дым кинулся на чердак. Скорее

заложил дыру кирпичами, и бегом на улицу. Будто вздохнул мой дом – весело и свободно задымил в просторное небо. Так началась новая жизнь.

Утром глянул по очереди во все окна. С южной стороны вытаяла лужайка перед домом, и по ней деловито и важно вышагивает вразвалку птица: в широких черных шароварах и с белой трубкой во рту, будто запорожский казак... Нет, не ворон, а грач. Прилетел, вернулся, как я, и вот уже изучает родную землю, поправляет что-то после зимы в траве. Пора и мне на улицу. Взял топор, пошел проверить изгородь и вдруг слышу прямо над ухом:

– За сколь дом-то продавать будешь, Валенте-эн?

Я вздрогнул: почти вплотную подкралась ко мне по вытаявшему лужку соседка Ия. Не соседка она, живет через дом, а дом этот меж нами пуст, значит, можно назвать и соседкой.

У меня еще ломило плечи от двухсуточной дороги, еще не огляделся в дому, а уж «продавай»... Обидело меня это приветствие, и я ответил ей сухо:

– Родину не продают.

Она задумалась, потом поддержала:

– Да... да-да. Вэрно ты говоришь, вэрно, – сильно ударяя на «е», в задумчивости сказала она и пошла мимо дома к магазину.

Оставшись наедине, я переключивал трухлявые жерди изгороди и все думал, почему с такой легкостью многие дети продают нынче родительские дома в деревне. Они будто спешат отделаться от своего прошлого, от отца, дедов, бабушек, от своего детства. Или все это давит на них былой бедностью, бесправием, колхозным происхождением? И они мстят по-своему за то унижение?

Но проходят годы, и смотришь, едет кто-то всем семейством в свои родные места, но уже в гости к тетке или своим деревенским соседям. А еще через какое-то время покупает ветхий домишко вблизи родных мест.

Правда, иные уезжают начисто, будто сквозь землю проваливаются. Только глухие слухи и доходят: спился, в тюрьме, умер... Но таких мало, редко.

3

О, родная земля! Одни косноязычно клянутся тебе в любви с московских проспектов, всенародно заверяют в преданности и крестьянской закваске. Других словно перекаати-поле носит ветер судьбы по широким российским просторам, и не знают они до старости «ни дому, ни лому», но все ругают кого-то, сиротствуют, бия себя в грудь: «Я свет и совесть твоя, Россия!» Сквозит во всем этом выгода саморекламы, чутье конъюнктурщика. И едва ли среди этих «страдальцев» найдется один, который, уходя из родного села, посадил бы на родине хоть березку или сосну на память о своей родословной. Где там... Скорее спешат продать все нажитое родителями. А на остатки дворины, если дом куплен на дрова, как падальщики на добычу слетаются туземцы – тащат доски, кирпичи, выкапывают вишни и яблони... То же самое творят и с оставленными домами, еще не проданными, но уже кинутыми на произвол судьбы. И это по всей России, а точнее по всему Союзу. За двадцать лет застоя внутри страны погибла целая крестьянская держава. Это была тихая война без выстрелов и взрывов, но она основательно подкосила нашу экономику и мораль.

В таком виде застал я и свою родину. Старые березы посреди деревни рухнули, а новых никто не посадил. Крыша на моем доме протекла, печь облупилась, изгороди пали... Всюду обреченность.

И вот я хожу по дому и огороду, пытаюсь замазать глиной печь, закрепить топор на топище, застеклить раму, хоть временно заделать протек в крыше. Устаю от неумения и одиночества, но пробую снова и снова – будто сдаю запоздалый экзамен на крестьянскую суть. В минуты отдыха затихаю, как в музее. Переключиваю молотки, шило, напильники, рыбацкие

иголки... Все сделано, приобретено отцом. Залезаю на чердак, сеновал. Глажу кросна матери, грабли. Вот торчит в щели старый, сработанный серп, коса поржавела... Все валяется без движения, без дела, никому уже ненужное, словно из другого века.

И не тоска, а какое-то иное чувство не то вины, не то взаимной обиды будто висит в воздухе между мной и этими вещами. Оставленный крестьянский дом тоскует как живое существо, которому связали руки и ноги, молча взывает о помощи. Мне первому из всего нашего роду-племени досталось увидеть и испытать это. И толкнуть жизнь в доме почему-то трудно, будто переступить роковую черту. Первое желание – закрыть дверь и уйти к родне, соседям. Но это похоже на предательство.

Топлю еще раз печь и собираюсь проведать лес. Ведь и в доме хожу еще в валенках, фуфайке и шапке, от дыхания исходит пар, руки зябнут. В лесу теплее.

А над домом уже летят гуси. Высоко, медленно. И по детской охотничьей привычке меня охватывает нетерпение. Снаряжаюсь под вечер. Еще не достиг ближней рощи – бежит по полю наперерез солдат с овчаркой. Молодой, без пилотки и без ремня, гимнастерка на ветру будто колокол. Запыхался, кричит на бегу:

– Подожди!..

Собака, прыгая через кусты, преграждает мне путь. Солдат подбегает вплотную:

– Дай патронов...

– Кому? – спрашиваю. – Ты охотник? – Да... дома все есть, и ружье, и билет. Осенью дембель. Дай, утки прилетели, вечером пойду. Я с Украины.

– Но... не положено. Из чего стрелять будешь?

– У меня обрез есть.

– А офицер узнает?

– Не узнает, мы прячем. Дай, вон в то болото к ночи прилетят. Три патрона всего, я с детства охотник. Ничего не будет...

Что делать? Патронов и у меня не густо, а обрез еще больше вводит в смятение. Под великим секретом, взяв с него слово, что не будет никаких ЧП, дал ему два старых патрона отвести душу и с неприятным чувством двинулся через кусты дальше.

Перед закатом обтаптываю местечко среди молодых елок рядом с валежиной, чтобы стоять и сидеть было удобно до самой ночи. Вокруг и земля, и вода, и снег еще есть. Только в сырых болотах и встречается все это разом. Хорошо. Тонко пахнет молодыми елками, болотинной и холодом снеговой испарины. И вот поднимается какой-то дым над краем болота, густеет, потом заиграли языки пламени, бегут по сухой траве к можжевельникам... Стукнул тупой выстрел. «Уж не мой ли солдат?» – мелькнула догадка. Срезал ножом нижнюю лапу от ели и пошел на дым.

На краю болота в зарослях сосняка вижу, стоит знакомый солдат с обрезом, курит и любит приближающимся к нему пожаром.

– Ты поджег?

– Я, – отвечает он с улыбкой. – Сейчас полетят.

– Кто же полетит на дым, на пожар? Сейчас огонь доберется до можжевельников и сгорит весь наш перелесок. Летом здесь ни ягоды, ни гриба не найдешь... Давай тушить!

Я отдал ему свою еловую лапу, себе срезал другую, и мы начали хлестать ими по огню, по прошлогодней сухой траве. Успели, обгорел только бок крайней можжевельины.

– Эх ты, охотник, – заметил я ему.

– Но деревенские сами поджигают, – оправдывался он.

– Поджигают на открытых полях и лугах и так, чтобы огонь не добрался ни до леса, ни до деревни. С умом делают.

– Не сердитесь, я вам завтра соку березового трехлитровую банку принесу. Я знаю, как добывать...

– Не надо ничего. Я сам умею. Иди вон туда, а я здесь останусь. Может, полетят еще. И солдат послушался, ушел через горелый луг за дорогу в другое болото.

Утки пошли уже в сумерках и очень высоко, я не стрелял, а только слушал торопливый посвист крыльев.

«Бумм!» – будто кувалдой долбанули в соседнем болоте. Я выдохнул с облегчением: «Слава богу, больше патронов у него не осталось...» Домой шел в темноте и все думал, как долго у человека нет ума. И радовался, что больше с этим бестолковым солдатом меня ничего не связывает. Но рано радовался.

Когда вошел в свою уютную избу, размеренным ходом тикали часы, будто и не останавливались никогда, тихонько играло в углу радио, печь дышала теплом. Я достал из нее чай на травах, напился, залез на эту же печь и проспал до полудня.

А проснувшись, отправился за дровами к бане и вдруг замер, пораженный: ствол ближней к бане березы был грубо подрублен тупым топором. Прозрачный сок стекал из рваной раны по жестяному лотку в трехлитровую банку. Я понял, что это «услуга» моего вчерашнего солдата. Забыв о дровах, вернулся в дом. Отыскав старую краску и кисть, я насухо протер рану березы тряпкой и тут же закрасил. А банку... подумав, с размаху ударил по ней поленом и пошел топить печь.

Вечером, когда вновь гулял по огороду, под березой не обнаружил ни единой склянки: догадался, видимо, мой доброжелатель, что опять вышла медвежья услуга, и все убрал. На это я и рассчитывал. Береза не погибла, она распустилась, но поздно, и лист на ней был какой-то мелкий, хилый.

Вот, пожалуй, и все на солдатскую тему в деревне. Остается только добавить, что раньше на месте нынешней казармы была колхозная ферма. И немало тут пролили слез во время войны солдатские вдовы. А вместе с ними и моя тетка Дуня. Она работала дольше всех, лет тридцать, без премий и наград, и выработала себе пенсию в двенадцать рублей.

Однако и солдаты не зря жили-служили: построили хорошую казарму, насадили вокруг молодых берез, вовсе не ведая о том, что именно здесь и росли когда-то самые старые в деревне березы. Но рухнули, не дождавшись всеобщего благоденствия, а ферму, говоря по-военному, расформировали как неперспективную. Говорят, что скоро и военную точку ликвидируют. Скорее бы. Но останутся березы. В этом мне видится какая-то особая справедливость земли. Может, она что-то помнит или чувствует и по-своему вершит справедливость. Хоть это вселяет слабую надежду. «Да поможет нам Бог и сельсовет», – как говаривал покойный брат Николай, некогда посадивший эту искалеченную солдатом березу.

4

В апрельский предрассветный час по-детски доверчиво дремлет Земля. Ее космическое пробуждение всегда ново, и нет ничего отраднее, как брести в этот сокровенный час оттаявшим полем.

По-ле – звучит легко и просторно, как свободный выдох. Сколько дум передумано, сколько слез пролито, сколько песен и горя развеяно тут временем... Но не осталось на самом слове ни тяжести кабального труда, ни сиротства, ни бедности. Живет в нем вечная мечта и свобода духа.

В полночь я распахиваю дверь своего дома и ступаю будто сразу в космос: такая плотная тишина пропитывает всю многоверстную тьму ночи, что душа сжимается в точку и замирает в ожидании чуда. И по сей день люблю этот глухой предрассветный час апреля: с детства втравили меня братья в охоту, и остался я на всю жизнь полуночником.

Почти на ощупь иду мимо дедова дома, который рубил я когда-то с ним вместе, сворачиваю в поле и пускаюсь будто в ночное плавание. Ни огней, ни звуков, только слабое движение

воздуха чувствую лицом, это и есть мой главный компас в пути. Я знаю, глаза привыкнут, начнет бледнеть, и утро я встречу уже вдаль от человеческого жилья и суеты. Поле, как воля, не давит, не угнетает. И где бы ты ни ночевал, в лесу ли, в деревне, рассвет всегда начинается в поле.

5

Мало радости принес мне первый свет. Я не узнал полевых дорог. Минувшей зимой какой-то ретивый заготовитель сосновых шишек срубил под корень все полевые придорожные сосны, а неподильные обкорнал, обезглавил, оставив одни скелеты. И маячат в поле суковатые стволы да высокие зимние пни.

Так по этим «верстовым» столбам я и шел до деревни своего дяди. Четыре старухи да два старика – вот и все население деревни. Отмаяли зиму, теперь на лето ждут детей и внуков. Но есть своя местная радость – нынче открыли в селе церковь.

За минувшие годы заметно усох, сдал и дядя Паша. Но по-прежнему деятелен, держат с женой корову и улья. В избе у дверей меня встретил шоколадно-дымчатый молодой теленок, уставился большими влажными глазами.

Двое суток я провел у них в доме: чистили к Пасхе трубы, выставляли рамы, подкармливали пчел в ульях... А напоследок я помог увести в хлев и теленка. Мог бы гостить и еще, они оставляли, но будто немой упрек преследовал меня: «Свой дом заброшен, а чужой обихаживаешь...»

Снимаюсь затемно, охотой по утренней заре. Как одинокий стрелок обхожу окрестные леса и деревни: один жилой дом остался в Волкове, один в Самылове и уже ни одного в Василеве, Сивкове...

По зарастающим тропинкам лес крадется к самой околице. Когда я захожу в такую деревню, мной овладевает смиренное чувство, как на старом погосте. Если есть еще хозяин (не только дома, а уже всей деревни), он стеснительно прячется, будто виноват в чем, скорее шмыгнет в дом и... долго провожает меня взглядом из окна в поле. Что он думает при этом? Верно, решает, кто я, откуда и к кому приходил? И мне делается неловко, что я нарушил его размеренную отшельническую жизнь. До середины поля спиной чувствую его тяжелый вопрошающий взгляд.

Так проходит мой день. В неспешных раздумьях на обогретой опушке леса провожаю закатное солнце, пытаюсь угадать ближайшее будущее этих полей и деревень. Устав от дум, бреду на тягу, стою до темноты, и уже глубокой ночью направляюсь полем к своему дому. Именно полем, а не дорогой. Дороги так изуродованы тракторами, такие выверты на них, навалы и ямы, что можно не только завязнуть, а и утонуть запросто. Поэтому подсыхающее поле – истинный рай для пешей ночной ходьбы. В поле нет ни ям, ни коряг, ни камней. Зверь свернет в сторону, а люди в это время уже не ходят. Ноги сами идут, щупают землю. Если и встретится ложбинка или бугорок, то всегда пологие, не опасные.

И чего только не передумаешь, бредя ночным полем. Иногда слышится в вышине посвист торопливых крыльев. Какие-то птицы летят и ночью своим древним испытанным путем. А больше никаких звуков во всем поднебесном пространстве. Такая тьма и запустение вокруг, все объято вековой тишиной, и я словно погружаюсь в глубину веков, куда-то во времена древних славян. Будто язычник, несущий из леса на плече три кола, связанные сырой корой, добытую утку и первобытно радуюсь душевному покою, согласию с землей и небом. Вот вернусь в свой бревенчатый дом, сварю еду, выплещусь, заменю завтра гнилое прясло в изгороди... И буду радоваться этому пряслу все лето, как зодчий своему творению. Хорошо мне еще и потому, что сделаю это не только для себя, а для дома, родительской дворины, для всей деревни...

Воображение прибавляет мне силы, и вот я уже сбрасываю свои колья под сень родных берез. Среди ночи вваливаюсь в дом, включаю везде свет, радио и снова иду на улицу. Как

одиноким маяк, светит мой дом на всю округу. Я отхожу подальше и затаенно люблюсь живыми теплыми окнами.

Когда живешь один, то никогда не видишь света в своем доме со стороны, а видишь только в чужих и невольно испытываешь сиротство. Свет в окнах родного дома напоминает детство, родителей, лучшие годы жизни... Теперь мне уже не хватает всего этого. И я не спешу в дом, а хожу по угору, взглядываю на окна, будто жду, не скользнет ли по занавеске знакомая тень.

Говорить в доме мне не с кем, поэтому когда на улице дует ветер, идет дождь или снег, я пишу у топящейся печки свои записки: не то дневник, не то воспоминания. Название придумал: «Раздумья провинциала во все времена года».

Раздумья провинциала во все времена года

Весенние сроки

1. Всякое место на земле – чья-то да родина. Есть большая Родина и есть малая. Большая Родина – для больших людей (они видят и понимают ее всю, целиком). А малая... Нет – не только для людей маленьких, а для всех. Большая Родина бережет малую, хранит ее неизменной, неповредимой. Все мы выросли в малой родине, самой лучшей на земле. Вот и я пишу о малой родине, о многих ее «малостях», плохих и удивительных, видимых и невидимых. Пишу без особых претензий на всеохватность.

2. Самая главная наша ценность – земля, особенно родная земля, она ничего не стоит для нас с детства: можно бросить ее и уехать в чужие места, где больше сверкания, шума, суеты... Новое увлекает, завораживает, зовет. Но через годы нас тянет обратно на свою землю, в родное подворье. И только тут мы замечаем невысокие дома, самую землю – в буграх, перелесках, оврагах – скромную в своей неизменной красоте. И всегда испытываем легкий стыд за свое легкомыслие, непостоянство. Стыдимся даже дороги, по которой возвращаемся домой: дорога нас провожает последней, а встречает первой. Особенно когда нет уже в живых ни отца, ни матери. Дорога – это всегда путь на родину; не тебе, так кому-то другому. Дорога – особая земля, земля, у которой «имеется» память и перед которой бывает больно и радостно.

3. Снеговая вода в лугах среди дубов. Дует теплый ветер, уже сохнут верха грив, и синее, тает повсюду снег. Можно целый день бродить по этим гривам, спугивать первых скворцов, куликов, уток и не знать, что делать. А делать ничего и не надо. Просто гулять, смотреть, слушать. Есть такое занятие – встречать весну. И никто за это тебя не осудит, и сам себя не будешь потом ругать. Только весной позволительна человеку такая роскошь, привилегия. Но редко услышишь от кого-либо: встречаю лето, пошел встречать осень, и уж тем более – зиму.

4. С полночи, как обычно, ухожу в лес. И вот чудо: в маленьком лесном болотце, исхоженном мною вдоль и поперек, поет глухарь. Не верю, никогда их здесь не было, крадусь ближе, ближе – он! Шуршит перьевым нарядом, испускает мощный костяной шорох, будто в глухой непроходимой тайге. А вокруг болотца – засыпанные химикатами поля, развороченные тракторами, залитые водой дороги; брошенные сеялки по обочинам; собаки лают в деревне... А он будто ничего не видит и не слышит: поет, как перед концом света, а может, перед концом собственной жизни. И жутко мне, будто скачу я по болоту тоже на край жизни и хочу заглянуть в пропасть.

5. Под большим небом, среди большой воды разыгралась весна. Вот летят большие стаи гусей над большой страной, над поруганными церквями. А я стою один-одинешенек среди холодного поля, забытый, сырый, никому не нужный: ни родственникам, которых уже почти не осталось, ни совхозу, ни сплавной конторе, ни Союзу писателей, ни нашей Думе... Стою и не понимаю, как же все случилось, почему? И напрашивается один вывод: «Нет, страну направляли на ее исторические пути не самые умные и не самые честные люди, а часто корыстные, жестокие, немодушные. Безбожие имеет большие последствия, которые не смывает и самая широкая весна...»

И все плывут, плывут над землей гуси, будто нанизанные на струну кресты всех поруганных в России церквей. Молись, грешный революционер и вероотступник, хотя бы на эти последние высокие знаки. Время близко.

6. В седых далях замшелых туманных лесов заблудилась где-то по весне моя юность. Хожу, зову – и знаю, что никогда она не вернется. Как же так получилось, что я и юность разошлись и вот теперь гуляем в разных лесах: юность – далеко, вольно, беззаботно, а я здесь – в ближних от дома угодьях? Хожу будто на привязи, как домашняя прирученная скотина. И вдаль тянет, и на дом оглядываюсь, и все ищу причину, чтобы не уходить далеко от деревни...

7. Всю зиму думал: «Вот кончится зима, поеду в деревню, затоплю печку и... все о жизни подумаю». И вот приехал, живу, сижу у печки. Огонь горит, печка греется, тепло идет по всей избе, а как жить – так и не знаю. Жгу напрасно последние дрова.

8. Пришла весна, и даже раздавленный на обочине дороги кустик, который переехало не одно колесо, начинает жить. Он восстает и укрепляется, торопится, пока не просохла дорога. Так каждой весной хочет выправиться, воспрянуть наше крестьянство... А осенью новое колесо цен и налогов переедет деревенскую жизнь, придавит ее, и снег занесет все политические колеи до новой весны.

9. Когда после зимы вытаивают наши бедные поля, деревни, косогоры, овраги, поломанные заборы, кусты и рощи, полудикие сады – особенно мила нам эта поруганная родная земля, особенно заметны все ее раны, ее крайнее истощение. Кажется, и не воспрянуть ей никогда.

Но пройдет день Георгия Победоносца, пройдет День Победы нашей – и все так безудержно зазеленеет, зацветет, что только диву дашься: «Да откуда же такая сила и красота взялась снова?!»

10. В апрельское предночь над старым вытаявшим жнивьем низко парит лунь. Стоишь на тяге на опушке с краю болота и думаешь, что летает он так тысячу лет. И становится спокойнее на душе: когда всё в стране и в личной жизни перевернуто, когда всё или только начинается, или началось только вчера, нужны какие-то незыблемые основы. Нужно хоть в чем-то ощутить корни древа жизни. Иначе не устоять. И мне нет никакого дела до того, что луню этому два или три года, а ельничек, к которому я «прилепился» спиной, моложе меня. Весеннему вечеру тысячи лет – вот что важно, загадочно, непостижимо. Он и вечен, и вновь юн и притягателен. Разгадать эту тайну невозможно, но хочется хоть чуть-чуть приоткрыть ее. Рыжий лунь летит, не видя меня, и вдруг, спохватившись, взмывает вверх, опавшая мое лицо воздухом своих беззвучных широких крыл.

Обоим нам тысячи лет...

Оба мы – продолжение жизни.

11. Было время, я беспечно гулял по лесам весной. Гулкое пространство среди вытянувшихся сосен отзывалось на любой шаг и шорох, воздух – как струна: не задень; от самой малой птахи – взлетит или пропоет она – неслось по лесу многозвучное, шквальное эхо. От птичьих пересвистов и воркований уставал слух, голова кружилась от избытка кислорода, и казалось, что жизнь не имеет ни начала, ни конца. Скитался тогда по лесу и думал, что, наверное, вот я и есть самый обездоленный и несчастный человек на свете.

А теперь думаю совсем иначе: был ли кто тогда счастливее меня? И все чаще вспоминаю слова матери: «Из-за счастья счастья не видать».

12. Апрельским вечером хорошо идти мокрыми полями в сторону заката вслед уходящему солнцу. Идти без дороги, напрямик по подсохшему за день жнивью. Долго будет теп-

литься вечерняя заря, и далеко можно уйти под пение и крики прилетевших птиц. Встретится на пути перелесок, еще набитый снегами, одолеешь его, и опять тебя примет поле, уже другое, новое, но тоже праздничное...

В молодости я мог идти так бесконечно, и не осталось у меня ни одного грустного воспоминания. Как похоже на дорогу самой жизни.

13. Теперь, когда я приезжаю весной к своему деревенскому дому, меня встречает только скворец на березе. Он хлопочет вокруг полуразвалившегося скворечника, но весь трепещет от свиста и радости. И мне стыдно, что я не подготовил ему «квартиру». Открываю замки, достаю молоток, гвозди и, не заходя в избу, подновляю скворечник. Чтобы утром нас было на опустевшей дворине двое. Теперь и это счастье.

14. Теперь уж так: выйдешь на утре из лесу, оглядишься, деревню заметишь среди полей. И если дымит в ней хоть один дом, охватит тебя несказанная радость: значит, кто-то еще жив, толкает жизнь, насколько сил хватает... И идешь к нему как к союзнику по вечной борьбе за счастье наших руководителей.

15. Кажется, все рухнуло в России. Сейчас богаче и свободнее крестьян-колхозников стали даже рыбы и дикие птицы. Они еще живут по своим вековечным законам. А людские законы жизни все нарушились или изменились. Сейчас живет только тот, кто никогда и никаких законов не признавал и не исполнял. Но это люди либо примитивные, либо не от мира сего.

С чего же пойдет новая Россия?

16. Непроницаемо-черные зубы елей в остывающем горниле заката. Само солнце уже село, но жар от него еще исходит за лесом. Жар только видимый, вокруг снег, вода, холодная земля – срединно-русский апрель. Стою на скате ложбинки, по дну которой бормочет взывавший половодьем ручей. С одной стороны ручья растет молодой ельник, а на моей стороне маленькая лесная деревушка – вернее то, что от нее осталось: колоды, кадки, кросна, старые понурые бани. И стоит одна печь, как памятник всей деревне. Пройдет еще полчаса, и над банями и кроснами, над этой печью потянут вальдшнепы. А я, как последний Емеля-дурак из сказки, могу забраться на эту печь и, лежа на спине, палить с нее вверх.

Смешно и грустно. Потому что настоящий Емеля-дурак бросил свою печь и гоняется где-то за товарами и долларами. Вот вернется он к ней, а она уже разрушилась. Вытряхнет из мешка свою заморскую добычу – а там мусор... Но это уже из другой сказки.

17. Застала меня однажды в весенних полях ночь. Надо где-то ночевать. Бреду вдоль речки, вытекающей из лесу, мою сапоги на затопленной луговине. Речка бурлит, пожуркивает в ночи, будто разговаривает со мной, не хочется от нее уходить. Добрел я до стожка у самой воды, стог одним боком стоит еще на снегу, а другой бок, к речке, подтаял. Тут я и остановился, прислонил ружье к стогу, снял рюкзак. Поискал хворосту, посшибал старые пеньки на дрова, разжег сеном костер и увидел, как пенится, бурлит возле стога вода. Тут и решил коротать ночь до утра. Лег на сено, гляжу сквозь костер на воду и будто куда плыву. Так и уснул, забылся на самую глухую полночь. И спал-то всего часа два – но будто целую ночь: плыл и плыл куда-то, словно по реке в самую пору сенокоса. И все не мог надышаться запахом свежего сена. А когда проснулся, никак не мог понять: осень сейчас, весна или лето? Так спится только в молодости, когда душа еще всецело зависит от тела.

18. Мы вышли из тьмы. И во тьму уходят наши годы и жизни. И что-то тут не так. Должен быть где-то свет, наше общее пристанище и успокоение. Каждый идет к этому свету своим

путем, со своей надеждой и верой... Хуже всего, когда человек никуда не идет и ничего не ищет. Однако ждет, что к нему что-то придет.

19. Люблю российские полевые дороги, особенно в Пасху, когда рано утром идут по ним люди в церковь. Из-за пригорков и полулесков тянутся из темных забытых деревень последние обитатели в полуразрушенную церквушку – как к последнему спасению России. И кажется, в этот час по-особому притихают и поля, и небо.

20. Кажется, медленно течет время, медленно растет дерево у дома. Но... как быстро проходит жизнь. И чем она безбеднее – тем незаметнее пролетает. Беды, которых мы так боимся, растягивают жизнь, как бы удлиняют ее. Когда человек устает от бед, он завидует даже дереву, его «бесчувствию». Видимо, каждому – свое.

21. Много сил на земле. Но сила весны, кажется, самая могучая: все меняет до неузнаваемости, все устремляет к жизни. Даже камень, подмытый водой, поворачивается к солнцу другим боком и дает расти на своем прежнем месте траве.

22. По весне и рыба «уходит» в леса. Она пробирается в самые верховые притоки, в пойменные луга, старицы, затопленные болота, к подножиям вековых боров... Видимо, лесная снежная вода и рыбе наиболее пригодна для жизни и размножения.

23. Иногда в разгар весны налетит, закроет горизонт метель – будто занавесой задернет от взора перелески, поля, овраги... И ты затеряешься в ближнем от дома поле – будто спрячешься от людей, зверья, птиц... И весь мир разом сузится до ближайшей елки при дороге. Притулишься возле нее и рад-радешенек: хоть на это короткое время отстранились от тебя все заботы, вся суетность и неразбериха мира. В такую погоду всегда хочется уйти из обжитого, знакомого места куда-то подальше, в другую деревню или лес, чтобы уже там вдруг выглянуло солнце и все вокруг было новое, чистое. Человек, как и птица, тоскует на одном месте, томится, но не успевает за полетом своей души.

24. После таких снегопадов утро кажется осенним, пасмурным. Но текут, журчат всюду ручьи, пенные потоки; по берегам ручьев и разливин видны птички наброды: ночью прилетели и ходили по снегу возле воды кулики, утки, трясогузки. Остановишься и долго глядишь на эти забытые за зиму следы с благодарностью к последнему весеннему снегу.

25. Мы уже вступили в новое время, новую жизнь, но законов ее развития еще не признаем. Мы люди медленной исторической поступи, и революции нам противопоказаны...

26. Каждый человек живет в своем времени, то есть человек жив, пока он соответствует времени. Как только он начинает жить «во вред» времени, время его выталкивает со своей «территории». Не мы покоряем время своей жизнью, а время подбирает нас под себя. Так мы вершим историю, всяк своей земли-страны. Но свободы действия у нас никто не отнимает. Жизнь и судьбу можно изменить при желании. Знающему это дается.

27. Сейчас на наших глазах ломается, меняется мир. Меняется ежедневно. И главные мировые дрожжи бродят в России. Все тут сошлось: мировая философия и самая духовная литература, две или три революции враз, крах большевизма и возрождение православия, Чернобыль и новоявление мощей Серафима Саровского, нашествие католиков, демократов, спе-

кулянтов и... нищета культуры. Такие перепады – не только расплата за прошлое, но и некоторый аванс из будущего.

28. Народ, который почувствовал свое падение, крайнее унижение, от верховного правителя и до последнего нищего... такой народ не останется стоять на месте. Вопреки любой разрушительной политике и экономическому разброду он поднимется и восстанет.

29. Ничего у нас более ценного не осталось, чем воздух, леса и реки. Они не стали ни коммунистическими, ни демократическими и ко всем без различия относятся по-прежнему с добром и любовью. Если мы и этого не почувствуем, не оценим, тогда уж, действительно, конец всему, а у человека должны отняться и речь, и разум как лишние и просто вредные для его животной жизни.

И не надо при этом ничего говорить о Боге, ссылаться на Библию, мифы, Нострадамуса или винить большевиков.

30. Мы родились в наказанной Богом стране. Что делать: терпеть здесь или убежать от наказаний на Запад? Об этом многие думают и на что-то решаются. Но от своей доли нельзя отказываться. Всякому как бы указано свое место в этом мире, его и нужно «обрабатывать», улучшать. А уж что выйдет, то выйдет... Каждому человеку дан от рождения и масштаб собственной личности. И эту свою величину надо хорошо чувствовать: не надо опускаться ниже, но и выше забираться не следует.

31. Пока я работал на реке, в лесу, на море, сколько я видел первоклассных специалистов, честных душевных людей. И сколько их спилось, умерло, погибло до срока. Лучшие специалисты, лучшие, без преувеличения, люди России. Все они на кладбищах. Зачем мне исследования демографов, социологов, лживая статистика? По одному только этому уже можно судить об истории советского периода нашей страны, о всех «героических» делах партии.

32. Люди из других стран давно ездят по всему свету, открывают мир, а мы и своей страны до сих пор как следует не открыли. И лежат эти неоткрытые земли в центре России среди лесов, болот, у рек, озер, в заброшенных поселках, деревнях, кордонах... Иногда в таких местах валяются, догнивают, доживают свой век такие ценности, что и вообразить трудно. А сколько уже сгнуло со света вековой давности фотографий, писем, картин, орденов, старинной посуды, игрушек, мебели, крестьянской и купеческой утвари, одежды, украшений, невиданных Европой инструментов и приспособлений, рецептов, старых икон, книг, рукописей... Все, что хранят наши уездно-районные музеи, – это пресная капля, и не в море, а в океане.

33. Как-то ехали мы лесной дорогой. Машина грузовая, дорога в корнях и выбоинах. Ехали часов пять. Устали даже мы, а не только шофер. И вот наконец встретились нам лесной поселочек и колодец у самой дороги. Покрутили ворот, попили из бадьи – хорошо. Огляделись, понюхали – пахнет в лесу свежим хлебом.

– Что это, пекарня? – спросили мы, указав на домик на взгорке.

– Пекарня.

Пошли мы туда, и нам еще теплую буханку дали. Поели, привалились к колодезному срубу, еще попили. Совсем хорошо. И поехали дальше, как из гостей. Вот если бы хоть это сохранилось на российских дорогах...

34. Какое величественное и трагическое зрелище представляет наша российская проселочная дорога весной. Это не дорога, а полоса смертной битвы за жизнь. Какие ямины, раз-

ливы, объезды в полполя! Самые гиблые места набиты срубленными деревьями, жердями, обрывками тросов... Рядом – черное кострище после горелых автопокрышек, пластиковых мешков из-под химических удобрений, бутылки, банки... Бесконечная зима миновала в срединной России, и вот весенняя вода смывает, уносит все эти следы, как тяжелый зимний сон. Пройдет месяц-полтора, дорога просохнет, вздохнет под солнцем, и закружится над ней, как смерч, густая пыль за каждой машиной и трактором. Наступает новая битва, как писали недавно все наши газеты, «битва за урожай!» И так всю жизнь.

35. Если не в России, то над Россией происходит что-то мистическое.

Только мы не прислушиваемся и не видим ничего. Истинная жизнь в России будто поднялась вверх, а из земли ей на смену вышла из болот и грязей неотесанная, каменно-злая, агрессивная... И все грозит, грозит кому-то.

Если бы сейчас в России целы были малые деревни, мы бы безболезненно и с радостью могли принять многих русских беженцев из ближнего зарубежья. И люди были бы в покое, и сельское хозяйство помаленьку бы укреплялось. И ведь опять виноваты руководители-коммунисты. Удивительно, как все они «охватили». Уж лучше бы только пили и спали, ничего не делали... Но ведь им все «боевитость» надо было показывать, даже в разрушении своего дома.

36. Каждой весной даже маленькая птичка через тысячи земных верст летит к нам на север с радостью, надеждой и песней. И каждой весной выезжает в ближнее поле наш тракторист с руганью, матом и неверием в свою и общую жизнь.

37. В истории государства Российского Ленин и Горбачев всегда будут стоять рядом и вызывать удивление.

Один начинал строительство коммунизма.

Второй «завершил» это строительство.

Один в 54 года покинул пост.

Второй в 54 – принял.

Один Казанский университет окончил (юрист).

Второй – Московский университет (юрист).

Один знал иностранные языки.

Второй и родного толком не знал.

Один избежал государственного переворота.

Второй не избежал.

Один был решителен и целеустремлен.

Второй – полная противоположность.

Один ненавидел крестьян.

Второй сам был крестьянин.

Один отнял религию и философию у народа.

Второй негласно вернул.

Один, живя за границей, обрел целое государство.

Второй, живя дома, потерял его...

Не парадоксы ли?

38. В России все движется. Могучий духовный заряд прошлого не развеялся, он как пар или облако стоит над нашей землей, ждет востребования, нашего встречного действия. Что-то мятежно-грозовое таится в воздухе Ясной Поляны, витает над вершинами вековых лип и дубов... Когда молчат философия и искусство, свирепствует политика. Но от политики в воздухе остается черная гарь, которая выпадает осадком уже на второй день.

39. Сколько сменилось и сменится на земле людей, властей и даже целых государств, но каждой весной, когда на припеке возле ельников тает и оседает снег, начинается какое-то удивительное брожение воздуха. Кажется, нет ничего примечательного в скупой лесной лужице с черными листьями осины на дне, но к ней, этой слёзно-чистой лужице, припадает, как к причастию, всякий прилетевший куличок, и малая птаха, и утка... И такая радость обурекает всех в это совсем еще голодное и холодное время! Века проходят, народы, но этот праздник еще ни разу не отменялся. Не зря когда-то новый год начинался весной. И пока не нарушится этот извечный порядок, мир еще будет стоять и жить.

40. Когда наступает апрель, хорошо приехать в какой-нибудь лесной поселок возле реки. Там вытаивают кора, опилки, пахнет древесиной, торфом – там осязательно будущее, и ты знаешь, где оно: в лесах!

41. В прежние времена, когда были живы мои бабушки и дедушки, весны казались шире, оглушительнее, раздольнее... Это потому, что было еще много родных людей, и воспринималась весна как большой семейный праздник. Этот праздник заполнял собой улицу, дома, души. Чем больше семья – тем больше радости приходило в дом.

42. Земля помнит, кто жил на ней и что делал. Если дети забудут дела отцов своих и дедов, то земля напомнит. Поэтому человеку нельзя терять родину. Даже мысленная потеря родины вызывает ощущение сиротства и неприкаянности.

43. В грязи и невзгодах проживаем мы жизнь, проходим через этот мир. Создаем и оставляем города и книги – культуру материальную и духовную. Материальная стареет, духовная – не всегда. Если быть более точным, именно духовное и нетленно, и более всего ценно для людей. Но менее всего и хранимо нами ныне. Природа и искусство в первоначальном виде и есть самые большие богатства этого мира. Все материальные достижения человечества должны служить сохранению и обереганию этого богатства. В этом и есть смысл цивилизации.

44. Каждой весной просыхают пашни, прогреваются луговые разливы, прячут леса на пригревах – жизнь начинается снова и мир, вроде бы, не стареет. Но без зимнего оцепенения такой бурной радости обновления быть не может. Каждой зимой наступает как бы смерть нашей природы, и мы живем в особом застывшем мире, и всячески этот мир пытаемся разрушить: искусственным теплом, светом, музыкой. Дает ли нам это что-то в биологическом смысле? Может, искусственно продлевая лето, мы сокращаем свою жизнь? Ведь простудных и прочих заболеваний в городах намного больше, чем где-нибудь на лесном кордоне.

45. Помню, весной в лухских лесах квохтала глухарка в ельнике, и никого не было тем утром в лесах. Так казалось мне. Был наст, заря в полсвета, утренний птичий гром по всему лесу, и мне казалось, что лучшего времени земля еще не знала и никто не видел ничего подобного, я вот – первый. Наверное, счастье всегда связано с хорошей долей самолюбия. А в молодости это так естественно, просто. Путь к зрелости, мудрости и есть постепенное истребление самолюбия.

46. Наша русская весна тем и хороша, что идет в несколько этапов: сначала весна снега, потом весна воды, далее – весна земли, потом – весна рек и озер, затем – весна травы... А самая последняя весна – в глухих еловых лесах, оврагах, болотах. Если опоздал поглядеть на весну вовремя, в глухих ельниках застанешь ее еще и в конце мая.

Может, это отразилось как-то и на русском характере, который никак не укладывается в европейские и мировые стандарты. Российские людские жизни не самые продолжительные в мире, но так богаты переменами, перепадами, что своим разнообразием могут вызвать даже зависть.

47. Уже давным-давно середина СССР, то есть Россия была нища, бесправна, забита. Но никто из «кремлевских мечтателей» не хотел видеть этого. Сейчас мир увидел это во всей обнаженности, и все поражены таким глубоким опустошением некогда великой страны.

Но не только в этом дело. Сегодня самое главное, чтобы низость своего падения почувствовали, осознали все мы, весь народ России от президента до самого несчастного алкаша. Об этом постоянно и неустанно надо твердить по радио, телевидению, писать в газетах... Только глубокое осознание своей беды сплотит нас и заставит уважать самих себя и не надеяться на гениальность больших начальников. Только глубокое осознание беды, постигшей Россию, осознание всем народом, выведет из тупика.

48. Удивительны наши весны и весенние чувства: чем больше снегу вокруг, тем радостнее первая вытайка на взгорке и прилепившийся к ней жаворонок. А лесные бурные реки, скользящие по зеленому льду сквозь лесные буреломы и сугробы... Какая сила и уверенность в победе весны!

Как это духоподъемно действует на всю нашу нищую долготерпеливую жизнь. Если б у нас была хоть одна толковая революция, то время ей – непременно весна!

49. Когда наступает весна, над ржавыми болотниками по всей России тянут вальдшнепы. Но редко кто из деревенских жителей знает и видел их. Самое малое, на что они могут обратить внимание – это журавли или гуси. Тут уж да, останются, бросят всякую работу и какое-то время смотрят ввысь обязательно молча. Кажется, только тут они и разгибаются полностью, вспоминают о своей душе, а потом с тоской нехотя «возвращаются» на землю. Осенью почти всегда раздумчиво скажут. «Вот и еще одно лето минуло». А весной с радостью: «Ну, переживовали, знать! До тепла дожили...» И неважно, есть рядом кто или нет. Человек говорит как бы с самим небом. И в это время у него всегда хорошеет лицо.

50. Весной и в голом сыром овраге играет жизнь. Намокшей пластушиной еще лежит снег в низине, но бурлит поток и уже расцвела на пригреве мать-и-мачеха – и холодно и тепло одновременно. Сядешь на краю такого оврага и просидишь полдня беззаботно, как прилетевшая птица.

51. Мир, в котором мы живем – тяжелый, материально-вещественный мир. В нем все давно стоит на месте и все сообразно. Только человеку кажется, будто надо все переделать: леса, реки, пустыни... Упрямое существо человек: там, где надо переделывать себя, он старается переделать других или землю...

52. Вымирает родня, исчезают деревни, рубят опушки и перелески, перепахивают поля, болотины, пустоши... Но вечно будет лететь селезень над речкой Желнихой – наряден, стремителен, нетерпелив. Вымрут алкаши и богатствостяжатели, сменятся власти и рыбинспекторы, но вечно будет идти по весне на нерест рыба.

И долго еще человек не сможет постичь невозмутимости и красоты Вечности. Как много сил ухлится на временное – будто на вечное, а все оборачивается прахом. И так век за веком, род за родом.

53. В сырых весенних полях в водополье никого нет: ни людей, ни скотины, даже дикий зверь избегает открытого места. В это особое время поля неделю-полторы безраздельно принадлежат птицам, особенно перелетным. Гуси, утки, множество куликов, луни, скворцы, жаворонки – все отдыхают на полях. Ночью под говор текучих вод они осторожно опускаются на середину поля и долго сидят недвижно, слушая ночь. Выставляют сторожей и какое-то время дремлют. Но когда погаснут последние огни в деревнях, стихнут собаки, а время перевалит за полночь, в полях начинается настоящий птичий базар: гвалт, крики, купанье, вспархивания, перелеты с места на место... Потом наступает кормежка, поправляется оперение, обследуются дорожные раны и мозоли, и снова короткий отдых, чтобы на рассвете с зарей вострубить на всю окрестность о своем прибытии на родину, о радости любви и жизни...

Но редкий человек знает это, редко кому довелось слушать такую ночь и видеть ее, хотя бы и мысленно.

Особенно мне жаль людей деревенских, тех, кто всю жизнь ходит по этим полям, а весенними ночами смотрит бесконечный сериал о выдуманной заморской жизни – с казенной игрой актеров, с «деревянными» дублированием и с какими-то детскими бедами и слезами у взрослых. Ведь беды эти действительно детские по сравнению с нашими, с нынешним лихолетьем. На этих слезах и бедах отдыхает наш народ в забытых селеньях.

А над полями, над крышами и антеннами деревень волна за волной, вал за валом спешат в это время все новые и новые птичьи стаи из тех далеких телесказочных стран.

И как-то обидно, что птицы не знают нашей жизни, а мы до сих пор не знаем их потаенных радостей и печалей, А ведь живем на одной земле уже много тысячелетий. Уже мечтаем об открытии новых дальних миров, а ближние оставляем неоткрытыми.

54. Весной даже мертвые душой люди, и те просыпаются. Всеобщее ликование вод, травы, неба как-то доходят до них; добрых дел они, конечно, не совершают, но поменьше злобствуют, воруют и матерятся. Даже и в их мохнатых душах что-то по-своему расцветает.

55. Почему человек не считает богатством весну или осень?

Рано ему еще это. Деньги, вещи, еда, питье – вот наше богатство. Только то, что в себя и на себя. Богатство для тела. И не плохо это, если тело здорово и нуждается в этом. А солнце, воздух, вода, пение птиц разве не для тела? Тоже для него, но не только. Еще и для души. И бесплатно! Вот бесплатное-то мы и не ценим – отвыкли. А ведь и любовь настоящая тоже бесплатна, бескорыстна... А то еще, говорят, есть богатства Духа. Ну, это уж и вовсе лишь единицам понятно и доступно. И какая уж тут плата.

56. Земля, наверное, тоже устала от жизни людей. Не будь мороза, зноя, ливней, кто бы чистил и мыл землю? Человек плохо ее подметает; дезинфицирует больше ядохимикатами – сам же ими и травится. Раньше ключи, ручьи, реки промывали землю круглый год, теперь они все захламлины, завалены, запружены – все больны. Только недоступные глухие болота в лесах живут еще естественной жизнью. Там и спасаются от людей, летачатся последние птицы и звери. Скоро придет туда на лечение и сам человек, если хватит сил дойти.

57. Весной в распутицу идти от деревни до деревни – одно удовольствие: то скворцов встретишь, то жаворонок взовьется ввысь с вытаявшего жнивья, то чибис прожамкает крыльями над холодной луговиной; бывает, и уток сгонишь с придорожной разливины... Идешь и считаешь про себя: грач прилетел, чибис, кряковые появились... А почему нет чирка-трескунка, кроншнепа, нет другого кулика, третьего... И так многих птиц, знакомых с детства, недостает тебе. Что ж это такое? Раньше поля, разливы гудели и стонали от птичьего гомона

по весне. Пока идешь до школы, чего только не насмотришься, не послушаешься, и потом, на уроке, никак не можешь сосредоточиться.

Нет, за эти полвека изменились не только мы, люди, изменился и сам мир. Просторнее стало в птичьем царстве, реже, а в человеческом – теснее. И радости от этого нет никому, и постоянно стоит неотвратимый вопрос – что же дальше?

58. Весной даже голая холодная гора зеленеет. Все, что было промороженным насквозь, почти мертвым, не только оживает, но и дает рост, плоды, потомство. По одному только этому можно предположить, какой воскрешающей животворной силой обладает солнце. Мы еще мало изучили, поняли и почти совсем не используем эту универсальную силу и благодать. А все потому, что она дана нам бесплатно, безвозмездно и навсегда. Бесплатное, оно меньше всего и ценится.

59. История России помнит многих казнокрадов. Но все меркнет перед нынешним грабежом. Сейчас золото воруют тоннами на уровне самых высоких государственных чинов, воруют со знанием экономической науки, юридических законов, футурологии... Это все результаты политики Горбачева. На фоне такого невиданного дневного грабежа гуманитарная помощь Запада – это как возвращенная веревочка, та самая веревочка, которой были перевязаны наши подаренно-украденные тонны золота. Только ленивый нынче не грабит Россию. Растащат все. Оставят лишь то, что нельзя украсть: разбитые дороги, гиблые болота, облака да ветер над заброшенными полями.

60. Я был рабочим. Пролетариат – самый безалаберный и беспринципный класс, не имеющий своих корней – ни морально-нравственных, ни духовных. Это класс бессознательный, чисто материальной сиюминутной выгоды и культуры. Он первым поддержал большевиков в революцию 1917 года, первым пошел в отряды сыщиков, стукачей, карателей... Он первым и предал партию коммунистов: самый массовый, обвальный выход из КПСС во времена горбачевской перестройки был именно со стороны рабочего класса. Этот класс всегда ищет хозяина и покровителя. Сам он не хозяин, ничего не имеет, и ему «нечего терять кроме своих цепей», как сказал когда-то Маркс. Человек, которому нечего терять, всегда вызывал и вызывает подозрение и страх.

61. Когда в селе или городе на глазах у народа разрушается, гибнет церковь, школа или библиотека, где крестилось и училось не одно поколение – это и есть публичное разрушение культурного фундамента нации. После такого и народ этот, и сама местность обречены на постепенное вырождение, одичание. И происходит это медленно, безболезненно с привыканием, но неотвратимо.

62. Так уж получилось: убери из России непогодь да гиблые дороги, и что-то потеряет она в своей поэзии, философии, национальном характере. Пропадет русская душевная тоска. А без этого Россия уже не та.

Странствия по российским дорогам немало дали нашей литературе. Давайте вспомним Радищева, Гоголя, Аксакова, Пушкина, Чехова, Бунина, Паустовского... Ряд неполный, но памятный. Тяжки наши пути и в прямом, и в переносном смысле.

Мне часто приходила в голову мысль, что Россию спасут, возродят те глухие углы, что за болотами, бездорожьем, за многими верстами от губительных властей и реформ.

Нечто подобное совершается и в нашей национальной культуре.

63. «Правильное» поколение у нас появится еще не скоро. Сужу об этом вот по какому случаю. Выступал я как-то перед учителями-словесниками городских школ Нижнего, рассказывал о русской советской литературе, о том, что толкование ее в учебниках большей частью ложное, старое, сдобренное пафосом соцстроительства. Даже в «Поднятой целине» Шолохова правды только наполовину... Не поверили мне опытные учителя, были разочарованы, обижены... И пригласили другого писателя, старого, традиционного, который рассказал им все так, как записано у них в школьных программах и методиках.

Я недоумевал: почему же так? Ведь и люди еще не старые – редко кому за пятьдесят. Понял потом: в пединститутах они учились при Хрущеве, Брежнев, Суслове; их научили так, они привыкли, «обкатали» свой классный материал, и меняться им не хочется – страшно, опасно... Уж лучше по-старому, как-нибудь, до пенсии...

Кого же они выучат?

Значит, надо ждать новых, молодых учителей, которые сегодня только на первых курсах институтов.

Значит, и первое нормальное поколение молодых у нас явится только лет через шесть-восемь. Не раньше.

64. Благоденствия в России не будет еще долго, пока мы не почувствуем, что земля, на которой живем – наша. А она никогда не принадлежала народу: поля – колхозные, леса – лесхозные, реки – министерства речного флота, дороги – тоже разных министерств и ведомств. Даже земля и тот дом в деревне, где ты родился и живешь, и то принадлежат не тебе, а сельсовету. И к любой власти не подступись. Только к небу да Богу и мог обратиться человек на «ты», минуя начальство и всякие справки. Этому он верит и сейчас больше всего, с этого, видимо, и пойдет новая Россия.

65. Однажды в апреле, лет двадцать назад, бродил я с ружьем в заброшенных лесных местах Костромской области. Заблудился, но вышел наконец из чащи на поляну, к покинутой лесной деревушке. Всех-то домов было с пяток, но и от них остались только печи, полуупавшие изгороди, гнилая покосившаяся банька. Все было увезено или взломано, разграблено, а кросна, кадки, санные полозья, колоды – валялись.

И стояла в разгороженном огороде среди оплывших грядок старая яблоня, а на ней – скворечник, еще крепкий, не покосившийся, с полкой-беседочкой у летка. И на этой беседочке ярился, трепетал иссиня-черный с укропно-веснушчатым боком скворец. За всю зиму (оглядел я поляну) не было тут ни одного человека, только зайцы жировали... А скворец по весне прилетел и стал первым гостем. И хозяином заодно.

Я сидел на треснувшей колоде и слушал его. Уже солнце было высоко, и наст слабел в лесу, обещая мне тяжкую дорогу домой, а я все не мог встать. Мне казалось, что скворец поет так заливисто именно для меня, будто для вернувшегося жителя деревни. А уйди я – он смолкнет, загрустит, оглядится и полетит дальше на север, – так думалось мне. И почему-то захотелось, чтобы хоть скворчиная семья пожила тут в это лето, чтобы на пустующих грядках искала червячков, радовалась росту трав, солнцу, грозе... «А зачем мне то это?» – философствовал я на колоде.

Но я хитрил. Хитрил сам перед собой: я знал, что приду сюда еще раз, если не летом, так ближе к осени, и чтобы меня ждал кто-то здесь, ждала живая душа, хотя бы и птичья.

66. Наша земля еще и вот почему не родит, а если и родит, то – до стола не доходит: раньше крестьянин первую борозду и первый зажин начинал с молитвой. А нынче... столько матюгов и проклятий «рассеяно» по полям, дорогам, токам. Сколько сеяно и жато в пьяном

виде, со злом. И если земля и злаки – живые существа, то не могут они всего этого не чувствовать.

Без любви ни один сеятель ничего путного не взрастит. Помните: «Едет пахарь с сохой, едет, песню поёт...» Ведь не матерную же он песню пел.

67. Кто ругает наше время, кто приветствует... Можно понять и тех, и других. Но самый отвратительный пласт общества составляют те, что молчат. Они смотрят, слушают, все видят и слышат, но молчат, как глухонемые. Выжидают. Прикидывают, смекают.

Живя дома, здесь, они уже как бы потеряли свою родину. А была ли она у них? Они и до сих пор не верят, что весь Союз был в проволоке ГУЛАГов, зато до сих пор верят в великого «гуманиста-гения», дедушку Ленина-Ильича. Это они целыми косяками в десятки тысяч сидели (и даже лежали) в членах КПСС и молча выжидали-ждали, пока сама партия не ушла у них из-под брюха, как вода из-поддохлой рыбы. Потом так же «усох» и Союз. Но даже и это на них не подействовало. Упрямо, настойчиво, как глухонемые, они только смотрят и ждут, ждут...

68. Бывает, живешь с людьми в одно время, в одной деревне, но будто в разных плоскостях пространства: и ты им во многом непонятен, и они тебе. А вроде ровесники, вместе играли в детстве, в школу начинали вместе ходить... А дальше все оказалось настолько разное, непохожее, что сегодня мы – как существа с разных планет.

69. Сегодня верить в космические и божественные силы нас заставляет еще и нужда: Земля в одиночку уже не справляется с нашим безумием, мы «победили» наконец ее, и от этого самым стало страшно. Мы ищем союзника не столько себе, а и «врагу» своему – земле, природе. Много в этой помощи пока не ясно, потому и жива еще в нас надежда: «А вдруг все выровняется, образуется; может, простят нас и на этот раз...» Так нашкодившие дети плачут, но добровольно идут под наказание матери.

70. Места, любимые человеком, излучают добро и свет. Ответно и сам человек как бы светится. Союз этот следует оберегать. Как одному человеку, так и всему обществу.

71. Весной в любой луже на дороге сверкает радость и торжество жизни. Совсем другое – летом, и совершенно противоположное – осенью. А зимняя дорога, та уж и вовсе ничего «не помнит» о летней, и кроме тоски одиночества ничего на ней не найдешь. Примерно так же видится мне и стезя человеческой жизни.

72. Чем далее, тем все хитрее и невыносимее жизнь. И никакие гуманные помыслы различных «освободителей» человечества (философов, политиков, писателей), никакие открытия ученых, сверхмощное оружие – ничто не облегчило, в конечном счете, человеческую участь. Если бы мне сегодняшнему вернуться в 50-е годы – столько там лежало «невысказанных» радостей: еще можно было пить из некоторых рек, полно было рыбы и дичи, столько еще жило старых живописных деревень по России; редчайшие книги у букинистов стоили копейки, почти на любом рынке можно было купить мед, шубу, валенки (все натуральное), в Союз писателей принимали за десяток стихотворений, отпечатанных на машинке, или за один рассказ, опубликованный в солидном журнале... Но ведь и тогда люди жаловались на трудности. Рак только еще начинался, а СПИД еще никому не угрожал... Ах, мне бы те трудности сегодня! Но почему не жили спокойно и в те времена? Мир тогда напоминал коммунальную квартиру, и каждый отвоевывал свое счастье, угрожая другим.

Нечто подобное происходит и сейчас, только в более сложном виде. Вывод: надо пользоваться только глобальными теориями в устройстве своей жизни, страны, мира. Счастья для одного человека в полном объеме не существует. Паразитический гуманизм – главный бич человечества...

И всё опять возвращается к библейским заповедям. Иного пути для человечества нет.

73. Идет куда-то жизнь: леса и травы пытаются расти, наладить давно нарушенный круговорот. А человек становится все хищнее, злобнее, мстительнее. Он все более изощряется в воровстве, разбое, эгоизме и стяжательстве. Он ворует у государства, у соседа, забирается в тайные кладовые природы, разоряет запретное, веками хранимое всеми предками при любых властях и режимах. Это мучается в агонии последний революционер, взыскуя обещанное дармовое счастье. Он не успокоится и не образумится, как нечистая сила, пока неистовая злоба не изгрызет его вконец изнутри. И тут не стоит удивляться: он так воспитан, а потом обманут и брошен своими «светлыми» учителями. Иными словами, мы все еще пожинаем посев 1917 года.

74. Когда в майских зеленых лугах токует припоздальный тетерев – весна уже заходит в лето. Это токование в теплых лугах особенно отрадно больным и старым людям. В такое время нет уже по лесам охотников, тетерки плотно сидят в своих гнездах на яйцах, и никто не стреляет в лесу. Бывало, подойдешь к лесной деревушке на рассвете – все спит, один старик сидит на завалинке, снял шапку, слушает, как токует этот тетерев в низинке за деревней. Давно старик отходил по лесам и рыбным местам, но вот подкатила новая весна, и коротает он теперь зорьку под наличниками родного дома. Сидит, будто в молодости в шалаше.

– Чу! Слышишь? – говорит он вместо приветствия, а сам весь светится, воспрял, шапку в руках мнет от нетерпения.

Смотришь на него с радостью и сожалением: как всеильна жизнь, как беспомощна старость. Только охотники да рыбаки не спят вёснами на заре – счастливое и сумасбродное до самой смерти племя.

75. Вчера и сегодня мы жили и живем в долг. В долг у своих детей, внуков, правнуков: мы нарушили образование, высшую школу. Пока еще кое-как живы, а завтра войдем в мертвую зону: у нас не будет интеллигенции. Прервется цепь, и разрыв этот будет страшен: общество без интеллигенции, что судно без компаса.

76. Как весеннее половодье очищает русло и берега реки, так и «посткоммунистические» события очищают Россию. Хотим мы того или не хотим, но многое унесет река времени. Унесет все отжившее, устаревшее, одряхлевшее, ненужно-кичливое... Конечно, на поверхности новых течений много щепы, дряни, пены... Но вот спадет политическое половодье, войдет река жизни в свои берега, и вырастет на очищенных берегах молодая зеленая трава. И все придет в норму. И не надо роковых ахов и охов: все найдет подобающее ему место: золото не ржавеет, рукописи не горят, а народ бессмертен. Пока светит и греет солнце. Светило бы.

77. Жизнь в лесу хороша, особенно весной. Но в полдень такая накатывает тоска, что не знаешь, как дожить до вечера. Весенний солнечный день, когда надо бы только радоваться, тянется бесконечно, утомительно-однообразно, и время, кажется, замедляет свой ход. Не каждому под силу выдержать это однообразие времени, эту глухоту одиночества, когда лес и вся округа кажутся пустыми, вымершими, вековечными.

Зато всегда не хватает зари вечерней, ночи и зари утренней. От длительной охоты весной можно даже заболеть каким-то психическим расстройством, которое проходит только с

появлением первой зелени в лесах. Но эта весна уже не наша, не охотничья. Охотник с первой зеленью покидает леса. Настает время рыбаков и земледельцев.

78. Жил друг, рос лес, и каждый год мы ждали весну. Прилетали журавли, лес оглашался ликующим криком, и всем было радостно.

Но умер друг – и лес больше, вроде, не растет, замер. А журавли прилетают по-прежнему и по-прежнему кричат. Но теперь в их крике я слышу не радость, а боль и отчаяние. И не знаю, когда это все кончится.

79. Есть поле, есть река, есть лес... Человек рождается, живет, привыкает ко всему этому и считает все своей родиной. Но вот кому-то приходит в голову идея запрудить реку, вырубить лес, изменить луг и поле. Он думает, что несет пользу людям и прежде всего хозяйственную. Возможно. А как же с родиной? Разве ее облик ничего не стоит? Смысл таких ценностей, как образ родины, придется еще долго доказывать. Потому что наши хозяйственники, администраторы, да и политики многие – пока еще сущие неандертальцы в этих вопросах. И с ними повоюют еще наши внуки.

80. Маленькая весенняя речушка Желниха начинается в болоте, крадется по неудобьям, овражкам, через пустоши и поля, дорогу перерезает-переливает в апреле... и так добирается до коренной реки. Ей, Желнихе, столько же лет, сколько и земле. И по сей день захламляют ее всем, чем только возможно: мешками из-под удобрений с полей, обрывками тросов; бороны, детали от тракторов, плужные лемеха ржавеют; на дне ее – камни с социалистической нивы... Надоела она всем, но избавиться от нее не так просто. Чтобы не размывала дорогу, упрятали ее в трубу и дали ход под дорогой, а не сверху ее. До этого заваливали, изживали – бесполезно. И никому от начала века не пришло в голову обратное: взять бы да и углубить, как озеро. Вдруг бы что и получилось? Нет, в новом месте, в лесу вырубил деревья, выкопали котлован, и тут по весне новоявленный фермер развел гусей. И все замерли, ожидая изобилия. Но пока хорошо только лисам: на дне этой «сухой» речки Желнихи они и потрошат дармовую гусятину.

81. В луговой ложбинке возле леса все лето пасутся овцы. Трава зеленая, свежая до глубокой осени. Но не ведомо ни одной овце, что каждой весной в этой ложбине играет, пенится настоящая река-снежница. Даже льдины плывут по ней. И вместе со льдинами, мусором – семена многих трав. Потому и луговина хорошая.

Бывает страна, век, где так много выросло произведений искусства, литературы, что все человечество десятилетиями «пасется» на этих культурных угодьях и все дивится: откуда столько взялось? Но если мы заглянем в историю этой страны чуть пораньше культурных свершений, то обязательно найдем там в общественной жизни глухую снежную зиму, а потом – бурную радостную весну... Ведь для искусства тоже нужны и подготовленная почва и семена. Обязательно.

Я думаю, что и у нас, в России, после коммунистической зимы наступает весна. Придет время – и буйно зазеленеют всходы. А пока – ледоход. И на поверхности – больше мусор да пена.

82. Просыхают дороги, обветрели, побелели верха в полях – можно бы идти в лесную деревню к своему другу, как ходил всегда. Но нынче его нет, – ни его, ни жены – умерли оба. Дом стоит один, и он страшен, как гроб. Только жаворонки журчат над крышей. Удивительно тихо.

83. Разной тяжести бывают зимы.

Но всякой весной распахнутся опушки, выпростаются из-под снега елочки, и поплывет над дремучим отволглым лесом вальдшнеп. И жизнь начинается сначала! Все забудет и простит душа, омытая могучим земным дыханием апрельского леса. Во все времена не много было чудачков, ухививших в сырой лес на ночь глядя. Но если переведутся эти чудачки – искусство наше потеряет первородность. Ни одна картина, ни одно поэтическое описание не могут передать всю тонкость и загадочность этих считанных минут ночи.

84. Народ – могучее образование. Народ и Бог – это последнее, на что мы надеемся, когда изверилось уже все: власти, правительства, президенты и даже... история. Народ проявляется редко, даже не в каждой войне и революции, а только в самых крайних случаях, на роковых изломах истории. Он будто просыпается от вековой спячки, начинает ворочаться, ворчать, как гром, и подымается, подымается...

Но пока не подступил этот роковой час, на поверхности жизни мельтешит, торопится, исхитряется, обманывает, выгадывает, хвастается, слезит, жалуется, грозит, опохмеляется, лжеюродетвует... не народ, а народишко. Однако бьет себя в грудь и заявляет: «Я – народ!» Видимо, каким-то образом знает или чувствует, что он может быть и народом. Народ бессмертен, он живет не только сей день, а вечно, его корни идут на всю глубину истории, и это ощущение живо и спасительно в каждом новом поколении. Этого пока не отобрали.

85. В стране идут революции, реформы, вечная суета и наказание. А в остатке старого бора, на гривке, среди шишек, игольника, мха разгуливает на заре иссиня-черный петух-тетерев; урчит, шипит на всю ближнюю округу. Под ранним весенним солнцем он весь блестит, переливается тугим оперением. Вокруг этого последнего клочка леса зачумленные химикатами, залитые полый водой, продувистые поля. А тут, в затишке среди сосен, тепло, сухо, солнечно. Тетерев ярится все больше, вызывает соперников... Но их нет, один он, как царь, на весь сыр-бор. Рядом за пеньком прогуливается серенькая тетерочка, приседает, кокает по-женски нежно и слабо. И тоже одна. Ни соперников, ни соперниц, только двое их и осталось. Они чувствуют, знают это оба, но ведут себя, как на настоящем большом току: он токует, она слушает на почтительном расстоянии, изредка дает о себе знать нежным голоском, и он взворковывает еще азартнее. Я лежу под соснами в низинке, гляжу на них и думаю: «Сколько им еще суждено прожить – год, месяц, неделю?.. Но они до конца не нарушат извечный порядок своей жизни: до конца весны будут «держаться» ток, потом она сядет на яйца, выведет и воспитает птенцов. А он отсидится в кустарниковых крепях, вылиняет как следует, потом явится к ним, возглавит семейство и будет держать эту стайку до самой осени, до полевых вылетов – роковых, смертельных ядами удобрений... К зиме он останется один или она «овдовеет».

А весной все сначала: один запоет где-нибудь на боровинке, а одна или две услышат, прилетят – и опять ток по всем «правилам», «традициям», как было всегда...

И кажется, только человек не терпит ничего старого, традиционного, все ему надо переделывать – реки, поля, леса; он все спешит кого-то обогнать. Но разве можно обогнать жизнь самой земли? Да и зачем? Рано или поздно, а потянет тебя на весеннюю боровинку. Придешь, а там пусто, беззвучно. Только ветер шевелит сухие былинки, будто на кладбище.

Обогнал...

86. Вот так и пойдет жизнь по городам и деревням: исхитряясь, торопясь, проклиная вчерашнее и тоскуя по довчерашнему, выкликая лучшее будущее. И всегда будут молодцы на сей год, сей день, сей час – дальнзоркие в речах и близкие к себе умом: говорит глобально-патриотическую речь в Думе, а мысленно видит, как уже везут ему кирпич для строительства дачи в Подмосковье... В конце концов все зависит от культуры, воспитания и образования. Что в душе, то и на уме, а что на уме, то и в деле. А речи – они для запутывания людей, для маски-

ровки самого себя, для оправдания и отвода наветов. Язык стал орудием убеждения лживой жизни в «праведности» своей.

87. Весна. В пустых голых полях качается сухой чернобыльник. Но и он хорош, если оттаивает земля, гуляет полевой влажный воздух, греет яркое солнце. Именно на этот чернобыльник летит спускающийся с небес, будто латунный колокольчик на веревочке, трепетный жаворонок. Звенит, звенит – ниже, ниже, и вдруг будто оборвалась веревочка – канул колокольчик под сухую чернобылину и затих.

88. Весной даже вытаивающее прясло изгороди возле деревенского дома и то несет радость любому прохожему. Но когда вытаивает обворованный, разграбленный дом с выбитыми стеклами, с распахнутыми на дорогу дверями и окнами, любой прохожий пристыженно опускает голову. Оскорбленное человеческое жилище, думается мне, так же мстит за себя, как оскорблённый храм, церковь. Но не столько мстит, сколько направляет человека к истине. Почти каждый крестьянский дом – он ведь тоже как церковь, только малая. Расплату за поругание церквей и храмов мы уже ощутили, а за поругание домов, усадеб, деревень – это еще впереди, это еще будет. Не нам, так внукам.

89. В разгар весны над пустыми деревнями летят и летят к северу гуси. Их усталые строгие линейки опускаются под вечер на холодные поля вблизи этих деревень. Бывает, отдыхаешь где-нибудь на опушке леса, садится солнце, стихает ветер, слушаешь разговор этих гусей, и вдруг почудится: не гуси, а идет-галдит полевой дорогой ватага мужиков, возвращается в свою деревню с дальних зимних заработков. Сердце встрепенется в радости... и осякнет. Вздохнешь, оглядишься, а солнце уже село, гуси, прижатые к земле грузом усталости, стихли, и все вокруг молитвенно готовится к ночи. Встряхнешь на спине ветхий рюкзачишко и бесшумно, крадучись, идешь вытаявшей лесной опушкой к дому. Опять один на всю округу, опять наедине лишь со своими думами. Идешь и роняешь их на холодную землю ночных полей, как припозднившийся обреченный сеятель.

90. Есть в технике такая величина: коэффициент прочности. Хорошая величина, все ее любят, от конструкторов до эксплуатационников. Россия нынче жива только тем, что у нее, видимо, велик этот самый коэффициент. Возможно, сам Бог определил его, промыслив великие нагрузки на Россию. Но в чем этот коэффициент и какова его истинная величина – этого никто не знает. И не должен знать.

91. Всю жизнь в России не хватало хлеба и дров. О большем вроде бы и не мечтали. И вот среди этой всеобщей нехватки сыскали нам новую заботу – Революцию. Ее-то как раз нам и недоставало! А ведь с нее и все войны пошли: Первая мировая, Гражданская, Вторая мировая, Афганская и снова Гражданская. Ошибка не века, а веков и народов.

Только почему эту неуклюжую идею обмолачивать надо было именно на русском хребте?

92. Нынче я все больше боюсь уже не политических событий и не экономической пропасти, не войны и не атомной угрозы (пусть и мирной), а просто природы-погоды. Ее непредсказуемость страшнее всего: природа доказывает истину последней, чтобы у людей не оставалось ни врагов, ни зла, ни мести, ни обид... Ни к кому. Боюсь, что мы уже приблизились к этой черте.

93. Теперь уж того, что было вчера, никогда не будет. Время изменилось, и жизнь в России пошла по-другому. А если еще и мы все изменимся (в худшую сторону), тогда пиши пропало! Но не должно... Быстро меняются только подлецы.

94. Судьба любого человека связана с судьбой страны, родительского дома, отца и матери, родственников, детей. А человек все успехи приписывает только себе, единолично. И его начинает одолевать гордыня, она затмевает разум, уводит человека от истины и постепенно губит.

Но бывает гордыня и «широкая»: мы все выросли внутри гордыни советской, партийной, союзной, военной. Это не совсем патриотизм. Сегодня на смену этой гордыне пришло унижение перед всем миром.

95. Раньше цари ездили в золоченых каретах, и сбруя на конях была украшена тоже золотом. А нынче «царю» дают одну золотую звезду, и то к юбилею. То ли цари стали хуже, то ли человечество – скупее.

96. Время – самое загадочное явление для человека. Оно – как медленный ветер: не видно, но всегда течет. Или мы стоим, а время течет, или наоборот?

97. XX век – век торжества материи, материализма. Человеку попущено испытать силу ума, дабы понял он, что бездушный ум не все может.

98. Земные дела не упорядочить и не переделать никогда: что-то не дает, мешает, отводит... Земные дела – не столько радость, сколько наказание. И обойти это наказание нет ни путей, ни возможностей. Человек не может даже летать, как птица, и плавать, как рыба. Где же и как он успеет все? Он прикован своей тяжестью к земному шару, как подневольный раб к галере, которая плывет куда-то без его ведома по тайному замыслу кормчего.

99. Всякая жизнь незримо (для нас) рисует особый образ, единственный на Земле и, должно быть, нужный для какой-то общей картины. Поэтому каждый человек идет по своим ступеням жизни, и торопить или сдерживать его никому не следует. Тем более недопустимо убивать до срока: нарушается, корежится общая картина мира. И это чувствуют все, но не все понимают.

100. Апрельская ночь. Сижу на краю болота у костра. Тепло, тихо. Отдыхает земля. Затих наконец лес, потемнел, исполином стоит за моей спиной, не слышно даже, как он дышит. Жутковато.

Смотрю на часы: скоро ударит полночь и начнут медленно раздвигаться небеса, впуская мало-помалу свет на землю. Часа два это будет длиться незаметно, а потом осмелеет восток и пойдет шириться во все небо. Движение света и есть начало всего – начало радости, жизни, ликования всего живого. Но почему мы так боимся ночи и с такой радостью встречаем каждый день? Что бы все это значило? Ведь тьмы и света на земле поровну.

101. В апреле в туман, в морось тяжело просыпаются наши сырые хвойные леса. Каплет с еловых лап, с шорохом оседает снег в чащобах, медленно сочится рассвет сквозь сырую хвою. Но вот гаркнет вдали на болоте журавль, откликнется другой – и пошло гулять по всему лесу чистое медно-трубное эхо, и будто рукой снимет всю зимнюю спячку с лесов, и враз воспрянет округа. Вот такой клич и человеческой душе обязательно нужен хотя бы раз в году.

102. Каждой весной приходил в мою избушку над рекой старый друг. Приходил он из лесу, из своей деревни, мы вместе радовались весне, топили печку, пили чай, глядели из окна на речной разлив. А потом, под вечер, я его провожал до лесу. Однажды он, как всегда, ушел по лесной дороге. Наступило лето, а осенью он умер. Я знаю его могилу на кладбище, но она мало меня волнует. Я все вижу тот сумеречный лес, и как он уходил прямой лесной дорогой вдаль. Один, один, все глубже, глубже в лес... Уходил, сутулясь, пошатываясь, а вдогонку ему тянул вальдшнеп, истаивая в вершинах. И душа моя сжалась тогда, будто знала все наперед. Ни окликнуть, ни остановить почему-то было нельзя. Так он и ушел, а я продолжал стоять на сумеречной весенней дороге. И до сих пор кажется: он просто ушел в лес и унес с собой все, чем дорожил в этом мире.

Над дорогой этой нынче опять тянут вальдшнепы, как тянули и до нас.

103. Стареют люди, стареют деревни, колодцы, поля. Даже леса и озера стареют. Но никогда не стареет весна. Даже в старом лесу весна всегда молодая. Вот на высокой сухой вершине устало воркует дикий голубь вяхирь. Последние дни апреля, и голубь устал от весны, от воркования, от шума текучих вод... Нет, это я устал от всего этого, а он поет, будто в первый раз, вдохновенно, гулко и так натужно, словно распирает его избыток сил. Стою на просеке и думаю: «Как же могуч вечный двигатель жизни, который каждой весной запускает кто-то с великим вселенским гулом».

104. Человек строит дома, заводы, целые города. Изукрашивает их огнями, картинами, садами, музыкой...

Но лучше всех устроено «жилище» вальдшнепа: вот он на полотнище алой вечерней зари тянет над стихающим лесом, над болотинкой и поляной – как царь этой весны и ночи, сам, при своем скромном наряде, красив до безумия. Стою на опушке леса и думаю: «Земля уже создана и приготовлена для жизни, все на ней есть, что нужно птице, зверю и человеку: и полезность, и красота, и нестарение. Лес и луга не надо красить и подновлять, все делается само собой по великому плану, без спешки и авралов, но к сроку. Для человека на Земле больше создано, чем он может создать».

И вот износили, истрепали мы свою планету вдрызг. Теперь нужен только капитальный ремонт, а это под силу лишь Богу. Попросить бы, поклоняться, да кто будет... Всю жизнь мы кланялись не тому богу, не перед тем царем гнули спину, не на того надеялись.

105. Полдень. Иду из леса по бездорожью. Устал, вытаскивая высокие сапоги из грязи. И вот сзади глухой топот, чавканье грязи... Оглядываюсь – мужик на лошади, летит наметом, вспененный битюг поводит боками, храпит, брызжет с удил пеной. Мужик молодой, здоровый, небритый и без шапки, сидит царем в седле: взгляд надменный, в руке хлыст, к седлу приторочен промокший мешок с чем-то сырым, тяжелым.

– Рыбы надо? – кричит он мне из седла громко, будто я провинился. Рыбы мне надо, но как-то не ожидал я ее среди поля и среди дня.

– К кому идешь? – не дожидаясь ответа, опять кричит он и прет на меня лошадиной мордой.

– Вон в крайний дом, – указал я на деревню. – Там сторгуемся... А какая рыба?

– Всякая – леци, щуки... Мешок брошу на лужайку у дома – забереешь. А деньги оставь хозяину. Я вечером вернусь! – Огрел неотдышавшуюся лошадь плетью и, разбрызгивая грязь, полетел к деревне.

Когда я устало подошел к дому, мешок действительно валялся на траве, видимо, брошенный прямо из седла. Хозяин дома, мой дядя, стоял на крыльце в валенках и курил, поджидая меня.

- Кто это? – указал я на мешок, разумея всадника, которого уже след простыл.
- Да пастух, Ленька с Василева. Могается по деревьям.

И я вспомнил: их семейство и раньше было пастушеским, бедным: зимой собирали милостыню, приходили и в нашу рыбацкую деревню, просили хотя бы рыбинку. Воды у них не было, и рыбачить они не умели. Вся деревня была нищенской, хирела год от году, а потом и вовсе опустела, разрушилась, заросла крапивой, кустарником и даже лесом. Теперь этой деревни и в списках уже не значится. А Ленька, последний из тех пастухов, живет на центральной усадьбе, в селе, в казенной квартире. Весной, до выгона стада, браконьерит, развозит рыбу по деревням и продает на вино. В детстве мы ходили с ним в одну школу, правда, в разные классы, из-за бедности он кончил всего-то класса три. Да и способностей не было...

А тут налетел как хозяин, поместный князь, чуть конем не затоптал. И какая властность в голосе, осанка!

- Времена-а... – только и сказал я, поднимая тяжелый мешок с луговины.

106. Все человек узнал-разузнал на Земле, все видел и все слышал, всю ее поверхность обобрал-обокрал, но сквозь землю еще не видит. Не видит еще клады и золото в земле, не видит целебные и ядовитые воды, текущие под земной толщей. Это последний, неприкосновенный запас Земли для наших потомков. Только самые праведные из них научатся слышать землю, понимать «голоса» трав и деревьев, чувствовать соитие вод и неба. Они предстанут перед небесным громом в чистых одеждах душ, и расторгнется, наконец, немодушие, так долго томившее нас.

107. Когда в огороде станет поровну земли и снега – самая пора топить баню. В субботу, как только перевалит за полдень, по всей деревне и начинают дымить бани. Банный дым клубится в сыром воздухе, припадает к остаткам сугробов, плывет над вытаявшей луговинной и сладко пахнет ни с чем не сравнимой горечью. Только в апреле, когда всюду снег, вода и уже земля, так радостен этот запах. Он причудливо перевит с запахом талой листвы, отходящих после зимы огородных грядок, просыхающей печной глины и первых луж. После весенней бани человек начинает и телом верить, что зиму пережил, переборол и теперь доживет до лета. Даже те, у кого нет ни дров, ни воды – а такое в нынешних деревнях встречается сплошь и рядом, – все равно стараются в это время протопить баню: на дрова пойдет старое прясло от изгороди, а вода рядом: в любой луговой луже, в каждой яме скопилась чистая снеговая влага – лучшей для бани и не бывает.

108. В поздние майские сумерки, перед наступлением ночи еще летят своим обычным путем птицы – утки, тетерева, кулики. Но летят уже как-то быстро, крадучись, бесшумно, будто стесняются своих брачных полетов в преддверии лета. Удивительны эти такт и скромность на фоне человеческого безумия и неистовства.

109. В мае вся молодая листва – и у трав, и у деревьев – светится каким-то чистым, радостным светом. В это время земля будто пытается что-то сказать человеку.

110. Кустится рожь, дрожит марево над болотцем, тонко и жалобно кричит кулик-кроншнеп над свежей яровой пашней. Уже с утра жарко – весна и лето одновременно. Ночью еще токуют птицы, бывает мороз, воздух «заборист» и тонок, но днем – уже ленивое спокойствие лета. Удивительное время.

Лето

С «Метеора» на наш берег много сходит людей. Почти никого не узнаю: все новые, молодые люди. Пока я учился и жил в Москве, Горьком, других городах, тут родилось и выросло не одно поколение. Молодые не знают даже названий старых деревень, затопленных новоявленным морем. Рассказывают им отцы о былой земле и жизни той – они слушают с усмешкой и снисхождением: «Давай заливай, хвались...» Для них минувшее здесь как полуфантастическая загадочная Атлантида: то ли была, то ли нет.

Давно я не видал своего дома зрелым летом, и память хранит прошлое: ровная трава на ровном бывшем поле, вокруг дома чисто и просторно, а надо всем этим возвышается дом.

Теперь мы приплыли и поднимаемся в гору вдвоем с сыном, который еще не видел моего дома. «Вот удивится», – думаю я дорогой.

Но удивился сам: дом почти до окон погрузился в крапиву, иван-чай, татарник, полынь, лопухи... А сверху над ним грузно нависли отяжелевшие листвою березы и черемухи. Вся усадьба будто выросла к небу, а дом и изгороди осели, приняли патриархальный вид. Весной это не было заметно, а теперь проступило.

Первым делом осматриваем и начинаем ремонтировать крышу. Раздевшись до пояса, стучим молотками на всю деревню. Перед обедом спускаемся к реке купаться. Трава на угоре уже выгорела, вытоптана поредевшим за последние годы стадом коров. Слепящую песчаную отмель бороздят темными плавниками лещи. Сын загнал одного на песок, радуется, тащит его от воды подальше. Мне жаль его разочаровывать: первая пойманная рыбина смертельно больна. Но отступать некуда. Сажусь на бревно и вспарываю леща ножом. Белый ленточный паразит, заполнивший все брюхо леща, противно шевелится. Сын чуть не плачет:

– Мне жаль его... Надо было отпустить.

– Все равно погибнет, – говорю ему. – Рыба должна жить на глубине, а этот не может.

– От чего он заболел?

– От воды, от стоячей воды.

Он смотрит на безмерно широкое зеленое море с недоверием. Что-то думает.

Минуя красный буй, проходит мимо нас груженный теплоход; выются, кричат чайки над отмелью; слепит, отражая солнце, вода. Коровы стоят по колено в ней и смотрят вслед уходящему теплоходу. Безлюдно и пустынно. Самая середина лета. К нашим ногам, наконец, бежит мутно-зеленый вал воды, поднятый теплоходом. И странно, даже на мели и на солнце гладкий вал этот не прозрачный, а будто пересыпан зеленой манкой. Это цветет вода. И густо, застожно цветет.

Молча поднимаемся на гору, и опять залезаем на крышу.

К вечеру стук наших молотков еще звучнее раздается на всю округу. На этот дробный стук пришла соседка Ия, оглядела снизу нас и крышу, заключила:

– Хорошо... А хорошо у вас получается, говорю, молодцэ. – Подумала и добавила: – Обей галко.

– Галку убить? Зачем?

– На кол посажо...

Я в недоумении передергиваю плечами, думаю, откуда у нее такой выговор, если она родилась в наших местах.

– Пусть живет.

– Неэт... Весь огород разграбела. Обей, пость жевэе боятса.

Мне нравится ее выговор, я и еще бы побеседовал с ней, но она уходит к себе, не желая вести время впустую.

Утром прямо с постели вышел походить босым по росе, а галки уж летят над крышей к огородам.

Вспомнил, сбегал за ружьем, стрельнул по последней стайке наугад. От выстрела галки дрогнули, нырнули за Иину крышу. Я дунул в ствол, как всегда после промаха, и понес ружье обратно. Выхожу из дому с ведром, а навстречу Ия. Улыбаясь, держит галку обеими руками, та еще вертит черной головой.

– Молоде-ец... Настоящей охотнек.

– Где ты ее взяла?

– А ты убел... Прямо на крыльцо мне к ногам и упало. Спасебо... Пойдо на кол привяжо.

А мне на кол привязывать никого не надо, потому что растет на бывших грядках только хрен да крапива. И от этого мне делается иногда грустно. Грустно еще и оттого, что дом юридически так и не имеет хозяина. Тяжелая это ноша для сердца – оформлять наследство после родителей или братьев. Нотариальные конторы должны бы помогать в этом, объяснять людям, с участием относиться к их горю. Но не так все.

Написав зимой в нотариальную контору очередное письмо, я запросил, каких документов еще не хватает. Ответ был – всего хватает.

И вот, покончив с половиной крыши, под дождичек (погода не для высотных работ) двинул я в райгород Макарьев к своему нотариусу.

У кабинета застал изрядную очередь. И ждали в основном потерявшие интерес к жизни старики и старухи.

– Второй день жду, нотариуса-то, – ответила мне старушка. – Вчера не работала она. А я из деревни. Вот и сегодня с пяти утра в очереди. Может, примет...

Я на это рассчитывать уже не мог: поздно приехал.

Попал я в заветный кабинет только на второй день и то к вечеру. И это было уже удачей, потому что рабочий день нотариуса был последним в эту неделю. Молодая женщина, мать-одиночка с малолетним ребенком, она, нотариус, работала по собственному расписанию. Очередь из стариков и старух за день мало убывала.

– А что я сделаю, – ответила мне юрист, с виду почти девчонка, – если одна обслуживаю два района. Два дня принимаю у вас в Макарьеве, а потом еду в Мантурово. И везде очередь, хоть разорвись...

Заходя в кабинет, я был полон решимости прочесть ей нотацию «за народ». Но вот представил, как она, доверив кому-то ребенка, трясется на автобусах из одного района в другой, чтобы разбирать чужие боли и беды, доказывать логику юридических законов полуграмотным, а то и вовсе безграмотным людям, и все это за мизерную зарплату, чтобы прокормить себя и дите. И у меня не повернулся язык. Не было виноватых. А точнее, кто-то был виноват свыше, недоступный ни мне, ни ей.

Да, новых документов от меня она действительно не потребовала. Но и свидетельство о наследстве не выдала.

– Когда же? – спросил я, теряя надежду.

– Когда будут все документы от всех ваших ближайших родственников.

А ближайшие мои родственники были развеяны по Союзу как песок ветром: кто в армии, кто в плавании на судне, кто в больнице при смерти... Попробуй собери. Прощаясь, я понял, что пройдет не один год, пока все образуется у нее на столе в соответствии с буквой и словом закона.

Однако дело надо было доводить до конца. Незамедлительно я уведомил об этом своих оставшихся в живых родственников.

И пошла писать губерния! Посыпались выговоры и обвинения в мой адрес, что взялся за дело и не могу довести его до конца. Вместо документов полетели письма и нотариусу – просили, стыдили и даже угрожали... Чем еще больше затягивали и портили дело. Таков результат

нашей поголовной юридической безграмотности. Однако у меня создалось впечатление, что государство даже заинтересовано в этом общем юридическом невежестве. Трудно отделаться от мысли, что вся эта наследственно-документальная возня с гигантскими налогами и госпошлинами с наследства (почему, за что?!) как раз и рассчитана на то, что человек не выдержит, плюнет на все, и дом останется догнивать без хозяина. Зато уже как собственность сельсовета. Такова была суть рабоче-крестьянской власти и законности. Я думаю, что еще и с этого началось запустение и разрушение наших деревень. Для ясности скажу, что проходила моя тяжба с нотариусом еще до гласности и перестройки. Как раз накануне всего этого. А «Свидетельство о наследстве» получу я на руки лишь на шестой год после смерти брата Николая.

Ну а пока, поняв незыблемость юридически-бюрократической твердыни, я с облегчением покинул деревянное здание райсуда и направился на автостанцию, чтобы на второй день снова залезть на свой недокрытый дом.

Под конец мы с сыном перебрались на крышу двора: и она требовала ремонта. Работа эта была пониже и попривольнее, с видом в поле и перелески. Поэтому сидели мы на крыше с термосом и приемником, предчувствуя близкий конец важного дела. А дело нравилось обоим, и мы тянули время – не столько работали, сколько отдыхали. Пили чай прямо на крыше, слушали музыку и глядели в поля, перелески. Задумавшись о проходящей жизни, я вспомнил о нотариусе и сказал про себя:

– Вот, завещаю тебе дом и поле.

– А мне поля не надо, – живо откликнулся сын. Так быстро сообразил, что ему надо, а что нет, – я даже растерялся. И тут окончательно понял: вот на мне и закончился наш крестьянский род. Не ахти какие были пахари мои предки: ведь сначала в наших местах надо было вырубить лес, сжечь сучья, выкорчевать пни, а уж потом пахать. И были все по округе в равной степени и лесорубы, и сплавщики, и рыбаки, как и землепахари. И все же мне жаль засохшей крестьянской ветви в нашем роду. Сплавщицкие и рыбацкие побегги, хоть как-то, еще живы. А крестьянский сук засох. И уже никогда не оживет.

Вот такая историческая мысль и пришла мне в голову на покатою к полям крыше.

И подходило уже время отъезда. А я, кроме крыши да нотариуса, ничего почти и не видел. Поэтому на другой день сел на велосипед и отправился в путь по окрестным полям, перелескам, с надеждой выехать и к реке. Взял удочки, несколько целлофановых пакетов, кусок хлеба и двинул на разведку. С сыном договорились: если поманит какая-то добыча, тогда повторим поход вдвоем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.